



Владимир РЯЗАНОВ

Была деревня Соколовка

рассказы и очерки

В гостях у журавлей

стихотворения

Владимир Рязанов

Была деревня Соколовка

«Автор»

2026

Рязанов В. М.

Была деревня Соколовка / В. М. Рязанов — «Автор», 2026

Будущее почти для каждого человека темно, загадочно, неизвестно, для меня – тоже. Но дни, прожитые на родной земле, общение с хорошими людьми и обитателями родных мест – незабываемы. И все рассказы в этом сборнике - конкретные случаи из моей жизни, или происшедшие с моими знакомыми, добрыми и равнодушными людьми. То же я могу сказать и о своих стихах. Когда-то я и не думал, что наберется у меня такое количество этих непридуманных рассказов, которые, я думаю, интересны будут людям, всем, кто любит природу. Надеюсь, что они научат любить места, где ты рожден, где ты живешь, малую родину, природу, Родину-Отчизну, своих спутников по жизни – братьев меньших и близких людей. Добрых Вам минут и светлых переживаний во время путешествий по моему сборничку рассказов и стихов, дорогой читатель.

© Рязанов В. М., 2026

© Автор, 2026

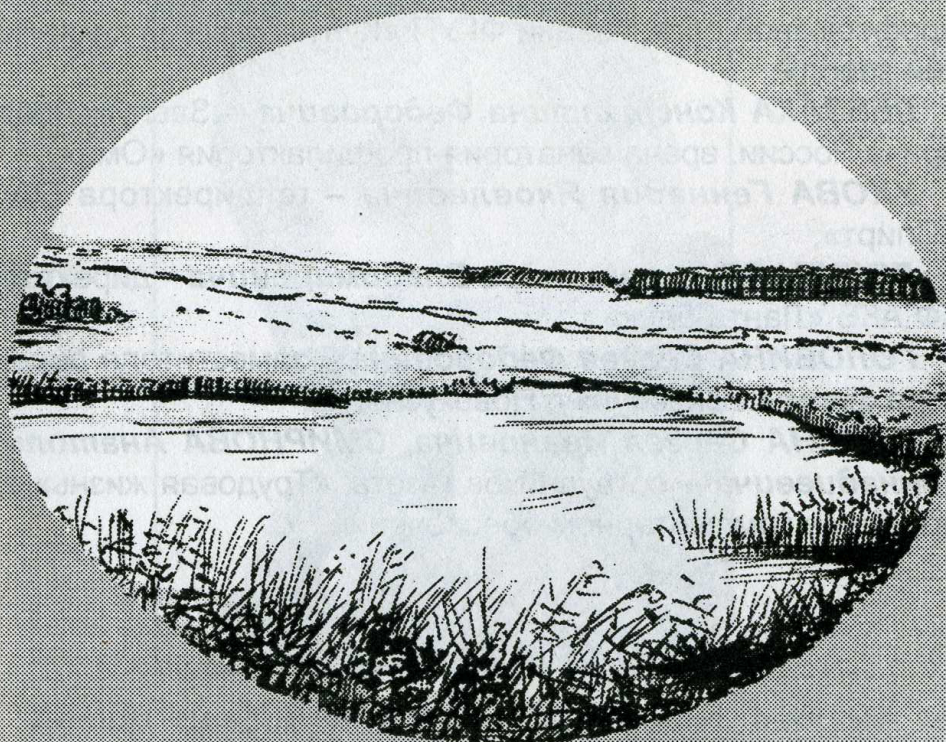
Владимир Рязанов

Была деревня Соколовка



Омут на реке Иче в центре бывшей д. Соколовки на месте плотины и водяной мельницы.
Фото автора от 07.08.2015г.

Владимир РЯЗАНОВ



Была деревня

Соколовка

рассказы и очерки

В гостях
у журавлей

стихотворения

г. Куйбышев, 2006 г.

Владимир РЯЗАНОВ
БЫЛА ДЕРЕВНЯ СОКОЛОВКА
рассказы и очерки

В ГОСТЯХ У ЖУРАВЛЕЙ

Стихотворения

г. Куйбышев, 2006 г.

Автор сердечно благодарит своих помощников и спонсоров:

*ГУТОВА Владимира Григорьевича – председателя профсоюзной организации ФГУП
«Куйбышевский химический завод»,*

ЛЕБЗАКА Константина Федоровича –

Заслуженного врача России, врача санатория-профилактория «Омь»,

УХОВА Геннадия Яковлевича – гендиректора ОАО «Спирт»,

ДОКУЧАЕВА Александра Владимировича –

директора КФ АКБ «Ланта-банк»,

*ГОЛОВИНА Сергея Федоровича – заместителя директора фирмы «Сибкоул» г.
Новокузнецка.*

*На обложке издания: омут на р. Иче на месте д. Соколовки, вид с остатка плотины.
Художник Антоненко В. П.*

*Обложка к разделу прозы: зарисовка эпизода рассказа «Родительский день».
Художник Наташа Коряк.*

*Обложка к разделу стихотворений: зарисовка к стихотворению «Песнь о журав-
лях» ученицы 4а класса школы №6 Наташи Рязановой.*



Автор, Владимир Миронович Рязанов, родился 16 июля 1947 года в крестьянской семье в д. Соколовка Куйбышевского района Новосибирской области. С малых лет не понаслышке он знаком с деревенской жизнью и сельским трудом. Писать начал с 10 лет, сначала стихи, потом – рассказы и очерки. С 1963 года сотрудничает с районной газетой «Трудовая жизнь». В 1966 году окончил Куйбышевский сельскохозяйственный

техникум по специальности «Механизация сельского хозяйства», а в 1976 году окончил Томский Политехнический институт. Печатался в районных газетах, многотиражках, коллективных сборниках, «Советской России». Участвовал в литобъединениях «Молодые голоса» в Томске и «Тропинка» в Куйбышеве.

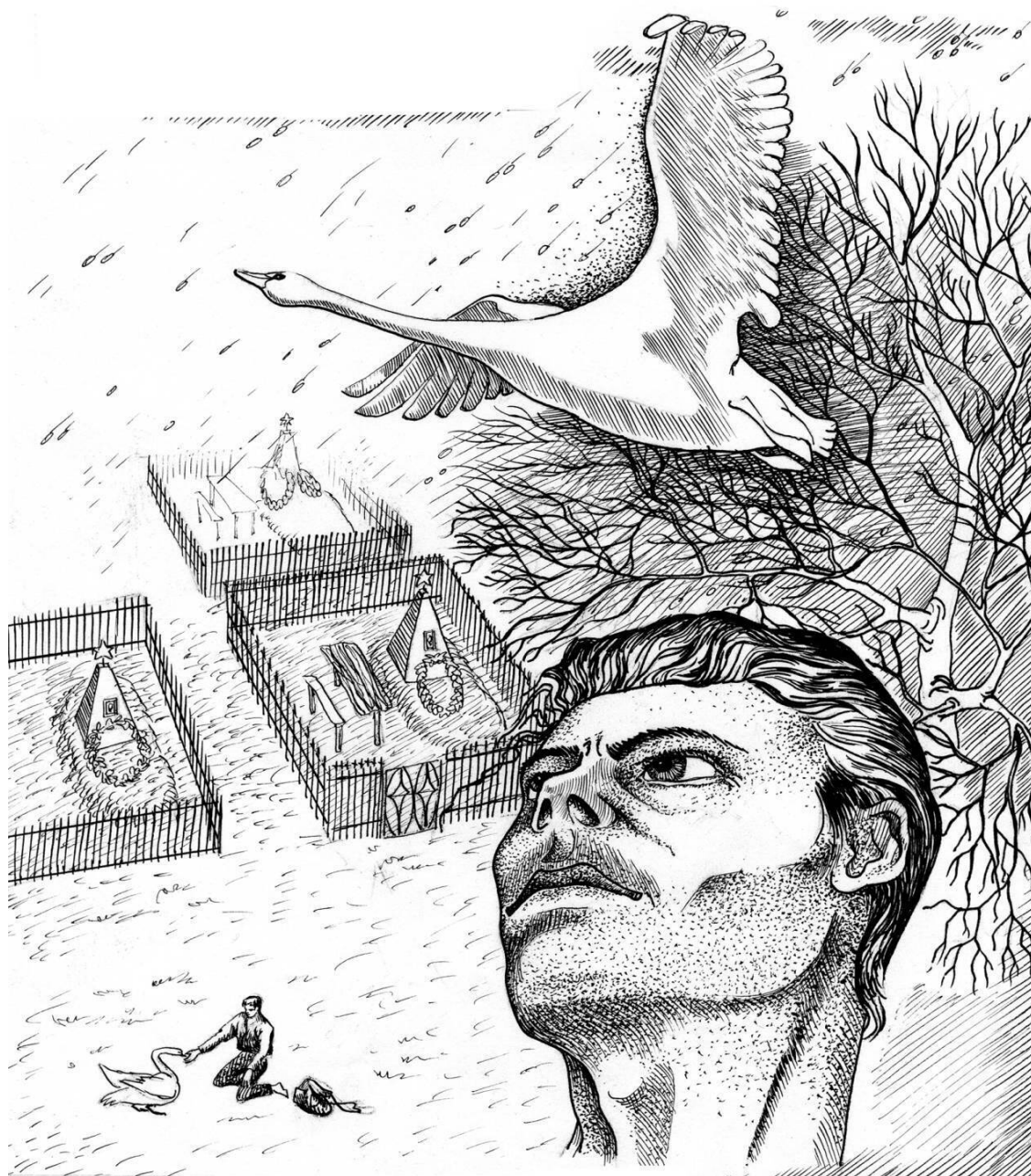
ОТ АВТОРА

Будущее почти для каждого человека темно, загадочно, неизвестно, для меня – тоже. Но дни, прожитые на родной земле, общение с хорошими людьми и обитателями родных мест – незабываемы. И все рассказы в этом сборнике – конкретные случаи из моей жизни, или происшедшие с моими знакомыми, добрыми и неравнодушными людьми. То же я могу сказать и о своих стихах.

Когда-то я и не думал, что наберется у меня такое количество этих непридуманных рассказов, которые, я думаю, интересны будут людям, всем, кто любит природу. Надеюсь, что они научат любить места, где ты рожден, где ты живешь, малую родину, природу, Родину-Отчизну, своих спутников по жизни – братьев меньших и близких людей.

Добрых Вам минут и светлых переживаний во время путешествий по моему сборнику рассказов и стихов, дорогой читатель.

В. РЯЗАНОВ.



ХЛЕБОРОБУШКО

Осенью Ванятка стал реже видеть отца. Летом отец чаще бывал дома, от него так же пахло соляркой и пылью, но он приходил домой тогда каждый вечер. Ванятка уже знал, что отец работает на тракторе, и летом все время трудится на сенокосе, он приходил поздно, но Ванятка старался дожидаться его – уж очень приятно было посидеть на его коленях, когда он устал и весело ужинает. Нравилось Ванятке, как отец, иногда прикоснувшись не всегда побритой щекой к его щеке, спрашивал: «Растешь, хлебороб?»

Часто ужин заканчивался тем, что Ванятка, едва поев, тут же засыпал на коленях у отца, когда просыпался утром, отца уже дома не было. С досады, что отец уезжал в поле без него, он начинал тереть глаза ладошками и плакать. Мать уговаривала его, гладила по голове: «Ванятка, солнышко, вот подрастешь, вместе с отцом будешь ездить на работу»...

Ванятка дразнился и куражился сквозь слезы: «Вот подрастешь, подрастешь... Ага.... Вот мне уже сколько...» - и тут же, загнув пальцы на ладошке, по одному отгибал четыре, а пятый не полностью, что означало, что ему четыре года и скоро исполнится пять.

Через некоторое время мальчонка успокаивался с надеждой, что завтра-то он не проспит и уедет с отцом на поле, где они заведут трактор и будут следом таскать сенокоски, как это было однажды, когда отец взял его косить заливной луг за деревней.

Непонятно было мальчонке, что же такое – хлебороб. Мама, как могла, объясняла, что хлебороб – это человек, который сеет, выращивает и убирает хлеб. Но у него в голове не укладывалось, почему это хлебороб пашет землю, хлебороб же сеет, косит сено, косит подсолнечник на силос и еще как-то убирает хлеб. Как убирают хлеб, Ванятка еще не знал, хотя знал, что он растет в поле: не так давно отец показывал ему привезенные с поля усатые колоски ржи на длинных стеблях и тугие коротенькие – пшеницы. Растирал отец колоски широкими мозолистыми ладонями, пересыпал их с ладони на ладонь, дул при этом, отвеивая мякину, и сыпал в Ваняткину ладошку острые длинноватые зерна ржи, налитые, что покороче и пожелтее – пшеницы, восхищался при этом: «Вот это хлебушко!» Жевал Ванятка зерна, но это понятие – «хлебушко» никак не вязалось со вкусом белой булки или калача. А интерес к хлеборобской работе был жгучий.

И вот, когда стало меньше солнечных дней, стала прохладнее речка, а ночью с неба глядели на землю крупные звезды и пересекались росчерки звездопадов, задвигались по деревне огромные диковинные машины-комбайны. Они исчезли из деревни в один день, так что их он и не разглядел толком. Все они скрылись за околицей, и не появлялись теперь в деревне, как и его отец. Мать объясняла мальчику, что отец живет теперь на полевом стане и на комбайне убирает хлеб. Ванятка уже давно не видел его и страшно скучал, но еще сильнее хотелось попасть на уборку хлеба, прокатиться на этом диковинном комбайне.

Однажды бабушка сказала, что скоро закончится уборка, и тогда отец постоянно будет ночевать дома, что не сегодня-завтра уберут последнее поле, что за рекой.

В полдень Ванятка услышал за рекой какой-то рокот, и тут же догадался: «Да ведь это гудят комбайны!» Первая мысль у него была – пойти туда, но он заколебался, потому что не ходил один так далеко. И все же насмелился Ванятка – решительно взял из хлебницы вкусную краюху, засунул ее под пиджачок и шмыгнул тайком от бабушки через огород, дальше – лужайкой к реке, где дощатый мостик без перил, большой-то мост далеко за деревней. Мостик был жиденький, идти по нему было страшно, но здесь он проявил смекалку, стал на четвереньки и пополз по тряским досточкам. Вода плескалась совсем рядом, вода темная и страшная, даже дна не видно. Ух, и жутко! Но мостик уже кончался, а страх придал Ванятке прыти. Не желая больше находиться рядом со страшной водой, он вскочил, бросился со всех ног на другой берег реки. Перебежал, оглянулся, прибавилось храбрости. Но, пройдя лужайку, он оказался один в зарослях ивняка, а дальше виднелся лес. И, хотя рокот моторов приблизился, он стоял в раздумье, уж больно незнакомым казалось все вокруг. Но выбора не было, впереди за лесом работал отец, а сзади – жиденький мостик, на котором натерпелся страху. И он смело шагнул на тропинку с высокой травой по обе стороны, углубился по ней в кустарник. Но далее тропинка повела вдоль леса, и вскоре гул моторов остался в стороне и начал удаляться. Ванятка постоял, подумал, и повернул назад, а спустя немного времени, обнаружил, что гул приблизился. Потом поравнялся с ним, и тогда он смело шагнул в лесок, прямо на рокот моторов.

В лесу было прохладнее и темнее, кое-где на берегах и осинах появились желтые и багряные проплешины, кое-где попадались огромные красные шляпки мухоморов в белый горошек,

на кустах малинника попадались удивительно сладкие и душистые ягоды... Он ел такую ягоду, переходя от кустика к кустику, и совсем уже приветливым и не страшным казался ему лес. По пути попался шиповник с крупными и мягкими плодами. Обдираясь и пачкаясь в паутине, Ванятка торопливо срывал плоды, жевал, выплевывая жесткие семена, постоянно прислушивался, опасаясь потерять направление.

Вдруг прямо перед ним что-то с треском вырвалось из кустов. Ванятка ошалело кинулся в противоположную сторону, но не сделал и пяток шагов, как перед ним из травы с шумом и треском стали вылетать опять какие-то крупные птицы. Мальчонка помчался через лес, не разбирая дороги, падая и обдираясь в кустах – откуда ему знать, что это был выводок куропаток, лакомившийся тоже шиповником.

Теперь уже он ни на что не отвлекался, а спешил на гул моторов. Вскоре лес кончился, но высокая желтеющая трава скрывала поле зрения. Тогда он по сучьям взобрался на старую ветвистую сухую талину, и увидел необычную картину: рядом с лесом по огромному желтому полю один за другим двигались эти чудные машины-комбайны. Впереди них что-то вращалось и двигалось, они вгрызались в желтое поле, а позади оставалось гладкое, праздничное поле с аккуратными рядами желтых копешек соломы, которые время от времени каждая машина выбрасывала из своего чрева. Летели в разные стороны пыль и мякина, и вообще на них все двигалось, вертелось и вращалось, гудело. Иногда какая-нибудь машина останавливалась, гудела сирена, к ней подъезжал зачем-то грузовик, а спустя некоторое время уезжал куда-то.

- А где же этот хлеб, уже убраный? – подумал Ванятка, слез с дерева и начал пробираться к полю. Но высокая трава, а потом высокая пшеница мешали видеть, и он шел на шум. Вдруг этот шум резко усилился, и сквозь высокие стебли пшеницы Ванятка увидел, как прямо на него движется комбайн. Впереди по всей ширине машины что-то мелькало, вращалось, подгибалось под себя колосья, которые тут же падали и исчезали, как ему казалось, прямо в машине. Ванятка так оробел, что не мог сдвинуться с места, а комбайн двигался на него с лязгом и грохотом всей своей громадиной. Вот комбайн уже совсем рядом, а Ванятка продолжал стоять, но когда машина остановилась, он, будто бы очнувшись, закричал, заметался в пшенице.

Колька Гвоздев, комбайнер, белобрысый чумазый парень, был знаком Ванятке, и, увидев его, парнишка сразу было обрадовался, но тот, с перепугу, что чуть не задавил мальчишку, так страшно заорал на него из кабины, что он хотел юркнуть обратно в пшеницу. Но Колька ловко прыгнул на землю, поймал его за руку и вывел, готового вот-вот заплакать, на сжатое поле. Из кабины следом остановившегося комбайна выскочил удивленный отец.

Колька, уже не злой и не испуганный, передал вспотевшую грязную ладошку в широкую ладонь отца, будто боясь, что парнишка вот-вот вырвется, и сказал уже совсем миролюбиво: «Вот, Петрович, заberi своего хлебороба, а то чуть не срезал я его жаткой. К тебе, чай, пробирался». Из подошедших грузовиков и остальных комбайнов подошли еще мужчины, и поневоле Ванятка оказался в центре внимания взрослых.

Отец сначала хотел отправить его домой на загруженной зерном автомашине, но тут мальчонка заревел уже по-настоящему и спрятался за Кольку. И тогда Колька Гвоздев вполне серьезно вступился за него: «Ладно, Петрович, раз уж пришел, так учи его, а отправить домой всегда можно». Взрослые смотрели весело, и Ванятка смекнул, что домой его не отправят.

Было время обеда, и на гнедой лошадке подъехала повариха с полевого стана. Запахло борщом, хлебом, поджаренными котлетами, каждый к этому доставал и домашний припас – соленые огурчики, вяленую рыбу, конфеты, и каждый старался угостить мальчонку чем-нибудь вкусненьким. Сначала он стеснялся, но потом сообразил, что в этом тесном кругу все разложено для всех, начал пробовать все. Обед оказался вкусным, как никогда, если дома хотелось чем-нибудь полакомиться, то здесь по-настоящему хотелось есть, и оттого после обеда сначала даже трудно было повернуться.

Но вот обед кончился, зарокотали комбайны, загудели автомашины, и Ванятка с отцом на своем комбайне двинулись следом за Колькиным. Здесь Ванятка внимательно следил за действиями отца. Усвоил он, что автомашину для выгрузки зерна подзывают сиреной, усвоил, как включается шнек при выгрузке, и все это вызывало у него восторг. Вон подворачивает к ним грузовик – это он, Ванятка, подозвал его сиреной. А это вот он на коленях у отца за штурвалом убрал кусочек хлебного поля...

Вот уже и начало темнеть, но механизаторы не бросали работу. Ванятке захотелось спать. В кабине тепло и уютно, так и клонит ко сну. Вот уже и включили фары. Теперь уже казалось, что не комбайн движется по полю, а само поле надвигается на комбайн. И жужжит, стрекочет освещенное поле, бегают по нему таинственные тени.

Спустя полчаса парнишка уже совсем не чувствовал, как отец вынес его, спящего, из кабины комбайна, и положил в кабину груженого зерном «ЗИЛа». Не чувствовал он и того, как шофер на полевом стане передал его поварихе, а та на койке отца заботливо укрыла его поверх одеяла стареньким полушубком. И как потом, спустя пару часов, подъехали к полевому стану на «Нивах» комбайнеры, убравшие в этом году последнее хлебное поле. И как отец, застелив коляску соломой, чтоб меньше трясло, уложил его, накрыв сверху тем же полушубком, а потом долго заводил свою старую «Планету».

Было уже около четырех часов ночи, когда к подъехавшему мотоциклу выскочила из дома не на шутку встревоженная мать. Но, узнав, что сын нашелся, цел и здоров, успокоилась, перенесла его в дом, уложила на диван, облегченно всхлипнув: «Умаялся, хлеборобушко».

Когда снимала с него одежду, то обнаружила в зажатой чумазой ладошке кусочек черствого хлеба, а из кармана пиджачка высыпалась на постель горсть свежего зерна. Видимо, сравнивал парнишка хлеб от прихваченной дома горбушки с хлебом на поле.

Декабрь 1978 г.

ЛАСТОЧКИ

Издавна у нас во дворе, в маленьком ветхом сарайчике, каждую весну селились ласточки. Нам, малышне деревенской, это было приятно, а иногда и являлось предметом гордости. Тогда мы начинали друг перед другом хвастать:

- А у нас уже два гнезда слепили, вот!
- А у нас уже пух натаскивают!
- А у нас уже одно яичко в гнезде!

Мне всегда было досадно, что у нас почему-то гнездилась только одна пара ласточек, но гнездилась она каждое лето, строя заново или подправляя старое гнездышко. Я всегда следил за ними с любопытством. Подставив старое корыто или березовую чурку, дотягивался рукой до гнезда, ощущая то сырость только что уложенной грязи, то мягкую подстилку из пуха и сухой травы, то крохотные яички, то находил уже в нем птенцов, сначала голеньких, едва покрытых пухом, потом уже почти взрослых, готовых вот-вот вылететь в мир. Я был еще слишком мал, и не догадывался, что доставлял птицам огромное беспокойство, но гнезда ласточки не бросали, несмотря на мои частые, едва ли не каждодневные визиты. Они, наверное, понимали, что я не хотел им сделать зла.

Однажды летом, спасаясь от жары и слепней забрела в сарайчик гнедая кобыла с жеребенком. Строеньце это было низким, и, задев головой лепной домик ласточек, она уронила его вместе с голопuzzым потомством. Услышав тревожные крики пернатых родителей, я поспешил к месту происшествия. К счастью, никто из пяти птенчиков не пострадал, но гнездышко было разломано. Я собрал малышей в фуражку, не зная еще, что делать, и под отчаянный крик носившихся надо мной ласточек понес в избу.

Птенцы были еще слепы, но жадно хватали большими ртами мой палец, глотали наловленных мною мух и мохнатых гусениц с капустной грядки. А в это время их родители, попи-

щав и полетав над избой, сели рядышком на торчащую из крыши сарая жердинку. И, то, чуть-чуть наклоняясь вперед, то, чуть-чуть наваливаясь назад, изредка что-то коротко щебетнув друг другу, скорбно молчали. Что-то по-человечески глубоко печальное было в них, и мне из всех сил захотелось им помочь.

Сам не веря в успех своей затеи, я разыскал пустую консервную банку, пробил гвоздем по краям два отверстия, одно против другого, продел в них кусочек проволоки и привязал к матице в том же месте, где было гнездо. Потом собрал с пола подстилку прежнего гнезда и, застелив ею дно банки, посадил туда птенцов. Заслышав их писк, ласточки вострепонулись и начали виться надо мной, стараясь, как мне казалось, ударить меня крылом или клювом. Но почему-то этого ни разу не произошло. Длилось это недолго, и, как только вселение закончилось, я тут же перестал их интересоваться.

Обе ласточки сразу подсели на край нового гнезда. В какое-то мгновение они осмотрели птенцов, что-то пискнули друг другу, как бы соглашаясь, что это их птенцы, и стремительно вылетели из сарая.

Я стал следить за их полетом. Ласточки то стремительно уносились в синее июньское небо, сходились и расходились в воздухе, выписывая спирали, то, набрав высоту, стремительно падали вниз. Снова устремлялись в веселые бездонные небеса и опять, в падении, сходились и расходились, весело кувыркались в солнечном воздухе, издавая при этом веселый щебет. Нетрудно было понять, что они радуются. Но вот они исчезли из поля зрения, а через пяток минут уже вернулись, неся в клювах насекомых – нужно было кормить потомство.

В то лето так и выходили они птенцов в консервной банке. А на следующий год нового гнезда не строили, подновили это – заменили подстилку, да еще консервную банку облепили грязью, чтобы не блестела. Получилось крепко и красиво.

Июнь 1978 г.

НЕИСПРАВИМЫЙ

Ястребы в окрестных полях были не редкость. Мне были почему-то симпатичны эти хищные птицы за свою дерзость и стремительность. В детстве свои наблюдения за ними я обобщил в записную книжечку, сделанную из обыкновенной школьной тетради, где и сейчас можно с интересом прочесть:

...Ястреб – небольшая хищная птица серо-коричневого цвета. Охотится за мышами, мелкой птицей, может растерзать змею, реже нападает на водоплавающих птиц, но куропатки, тетерева, перепела страдают больше. В поле и в лесу, поднявшись в воздух, он, часто махая крыльями, зависает на одном месте и высматривает, чем бы поживиться. Воровато, но быстро и уверенно пролетает иногда над задворками деревни, быстро выныривает на стайку воробьев, скворцов, ласточек или цыплят, железной хваткой хватает зазевавшихся острыми когтями, а из них уже не вырваться. Обычно мелкие птицы прячутся, завидев разбойника, а воробьи при виде его даже перестают чирикать. Действует он дерзко, очень уверенно, а добычу, попавшую в его когти, уже никогда не выпускает...

Все это, записанное давным-давно детским корявым почерком, было достоверно подмечено мной в природе, и за каждой строчкой из этой записной книжки стоит интересный случай. Вот один из них.

Как-то в конце весны или в начале лета сидел я в ограде и выстругивал удилище. Вдруг, вскрикнув, шарахнулись под навес куры, врассыпную вспорхнула стайка воробьев, громко чирикавших на крыше, а один, обезумев от ужаса, пролетел у меня под руками и шмыгнул между двумя поленищами дров. И следом тенью туда же мелькнуло что-то больших размеров. Воробышек, жалобно пискнув, вылетел обратно, порхнув на этот раз около самого моего носа, преследователь – за ним. Я, сразу не поняв, в чем дело, инстинктивно отмахнулся удилищем. Перепуганный воробышек улетел, а преследователь, попав под свистнувшее удилище, комом

упал в ограду. Я подошел к поверженной птице – это был ястреб. Улететь он не мог, хотя и пытался. Одев грубую голицу, я поднял птицу и принес в дом. Левое крыло было ушиблено, но перелома не было. От боли ястребок несколько присмирел, но смотрел гордо, реагировал четко на каждое мое движение, при удобном случае рвал клювом до крови мои руки. Кое-как освободив руку от голицы с хищником, я посадил его на половичок. Кошка в предвкушении добычи, не разобрав, кто перед ней, кинулась к птице, но в тот же миг была наказана крепким ударом клюва. Это было для нее так неожиданно, что она опрокинулась на спину, ошалело бросилась в отверстие в подполье, с перепугу тыкаясь в край лаза, и, наконец, скрылась в нем.

Не придав значения, что на кухне под столом сидела на яйцах утка, я вышел в ограду колоть дрова. Не прошло и получаса, как в доме произошел переполох. Едва переступив порог, я увидел следующую картину: утка с криком буквально летала по комнатам, гнездо было брошено, уже проклюнувшиеся яйца раскатились по полу, кошка одним глазом выглядывала из лазейки, а ястребок клевал уже растерзанного, только что вылупившегося из яйца утенка.

На весь этот переполох вбежала мать. И стал бы ястребок жертвой ее праведного гнева, но я поспешно набросил на птицу половичок и вместе с добычей вынес на улицу, где и вытряхнул на землю. Разбойник мгновенно преобразился, встрепенулся и, не выпуская добычи, низко полетел вдоль деревенской улицы в сторону леса, преследуемый деревенскими ласточками и другой пернатой мелочью.

Сентябрь 1978 г.

МАРТОВСКОЕ ЧУДО

В самом начале марта после смены как-то завтракали мы в заводской столовой. На дворе мороз, а здесь показалось нам будто бы чириканье птенцов – всем нам с детства знакомое, ни с чем его спутать невозможно. Кто-то из наших высказал предположение: «Воробьята вывелись!» Остальные посмотрели на него с недоумением, а потом скептически на окна, разрисованные морозом. Какие могут тут быть птенцы, зима ведь по сибирским меркам. Но в столовой тепло, а под потолком, возле отошедшей вентиляционной решетки, перепархивали залетевшие погреться воробьи и синицы. Послушали мы недоуменно чириканье, да и разошлись.

Прошла неделя. Опять завтракаем мы в этой же столовой, за этим же столиком. Слышим: где-то под столом звонкое чириканье, такое развеселое. Посмотрели, а там – скачет серенький комочек по полу. Молоденький совсем воробушек. Опять же, не верим глазам своим. Но комочек вспорхнул, пролетел всего лишь шаг и опустился на пол. Да что же это, в конце концов?! Не верится! Но видим: даже желтая полоска вокруг клювика, будущего еще – желторотик! На соседний, еще не убранный, стол подседа откуда-то воробьяха. Набрала со стола в свой клюв крошек, вспорхнула под стол, покормила из клюва воробушка. Тот оживился, замахал еще голенькими своим крылашками, зачирикал еще громче. Товарищи мои и завтракать перестали, молчат, рты пораскрыли, во все глаза смотрят на них. Улыбаются, а лица у них такие светлые и добрые стали. А воробьяха опять на столе крошек набрала и вспорхнула на оконный карниз, где ее ожидал другой юный воробушек. Она и этого попотчевала, и опять на пол – к тому, что еще совсем плохо летает, к первому. Мы и совсем про завтрак забыли. Так растрогали нас эти немудреные птицы. А когда уходили из столовой, то все осторожно обошли этого юного воробьяшка, эту нечаянную искорку жизни, вспорхнувшую и жившую вопреки правилам природы. Но и он, видимо, уже немного понимал жизнь – торопливо ускакал под отопительную батарею. Там тепло и безопасно.

Удивлялись мы потом долго, восхищались серой воробьяхой. Она же поступила мудро, рассуждая по-своему: «Чего еще, корм есть, за вентиляционной решеткой тепло, а зима-то, она только за окнами». И заимела деток – с ними-то и жизнь веселей. И нам от этого жить приятней. От этого маленького чуда в марте!

Март 1980 г.

ЛЕСНЫЕ ГОСТИ

Вспомнил я однажды, что есть у меня ружье, и что неплохо бы пройтись с ним по зимнему лесу, пораспутывать заячьи следы, пусть хоть и обманет меня косой плутень, я не буду в обиде на него. Задумано – сделано: ружьецо – за спину, кус хлеба – за пазуху, и десяток патронов с дробью – в карман маскировочного халата. Стал на лыжи, и через десяток минут уже в зимнем лесу, в деревне-то лес за огородами начинается.

В лесу – тишина, морозец легкий, деревья в инее. Уцепился я за лисий след и вскоре понял, что плутовка сама шла по заячьему следу, который после изрядных хитроумных петель, резких разворотов назад и семиметровых прыжков в сторону уходил в заболоченный кустарник.

Как ни осторожничал я, как ни крался по следам, вышло так, что на широкой заснеженной прогалине заметили меня одновременно и заяц, и его преследовательница. Стрельнуть не удалось, куда стрелять-то – рыжий хвост моментально исчез в заснеженном густом кустарнике, белая тень тоже нырнула в кустарник, в противоположную сторону, через безлесую заснеженную гриву – в сторону деревни. Я постоял, поразмыслил, что, возможно, я спас зайца от кумушки, следы подтверждали это: вот косой, набегавшись, со всякими предосторожностями залег в снежную нору под кустом, а вот кумушка остороженько шла-кралась, подползала к его лежке с противоположной стороны. Каких-то пяток метров оставалось, да меня увидела.

День был на исходе, и я повернул назад. В сумерки я вышел к совхозному сеновалу, куда прямехонько привели меня заячьи следы. Рядом была совхозная конюшня, где с детства мне нравилось бывать. Мальчишками мы охотно приходили сюда полюбоваться на жеребят, и вообще мы любили лошадей. Вот и сторожка.

Снимаю лыжи и ружье, захожу в сторожку. Накурено. Давно знакомый мне конюх Митрич, которого мы в детстве почему-то все звали дядей Митей, сидит на лавке и большой кривой иглой чинит хомут. Митрич состарился, но меня узнал, хоть и давно не виделись, приветливо заулыбался, обрадовался. На деревянных вешалках висят хомуты, вожжи, уздечки – все, как было. Так же пахнет приятно от сбруи – кожей и лошадиным потом. В углу топится печурка. Тепло и уютно. Поздоровались, разговорились. Посмеялся Митрич над моей неудачной охотой, хотя и выслушал серьезно, сам большой любитель по заячьему следу прогуляться, говорит: «А заяц-то гость мой, даже покажу, под какой скирдой он на сеновале ночует постоянно, не трожь его только». И я соглашаюсь. А Митрич и всерьез отложил шитье, одевает шапку – показать хочет. Хоть и интересно мне посмотреть, правда ли заяц в скирде ночует, но от тепла после долгого хождения по морозу меня разморило, и я отказываюсь. Но, обрадованный моим появлением, Митрич продолжает суетиться и удивлять меня. «Стоп, язви ты, - вдруг произносит Митрич, зажигает керосиновый фонарь и выключает лампочку. – Может, познакомишься, у меня еще гости бывают». Я оглядываю сторожку. Какие еще гости?

Одно окно синее зимней темнотой. Второе окно с западной стороны занесено, белеет снегом. Митрич поглядывает на меня, хитро улыбается, подходит к замеченному окну и каким-то образом отодвигает нижнюю шипку оконца, достает из-под лавки гусиную головку и еще что-то, и через образовавшуюся форточку кладет все в пустоту между снегом и оконцем, задвигая стеклышко. «Посматривай теперь, - таинственно произносит Митрич. Я посматриваю на оконце, лежит там гусиная головка и еще что-то, что положил Митрич, но ничего интересного. Мне надоело молчание, и я вполголоса пытаюсь что-то спросить, но хозяин легонько тычет меня в бок. В снежной нише за окном что-то мелькнуло белой тенью. Митрич в довольной улыбке обнажает крупные прокуренные зубы. За окном снова мелькнуло. Сквозь стекло на нас уставились черные бусинки глаз. Настороженная белая мордочка, черные кончики белых ушей, ловкое гибкое белое тельце. Рядом появляется еще одна такая же мордочка. Я замер, Митрич тоже: не дышит, кажется. Вот это да! Шепчу: «Горностаи?», бросив взгляд на Митрича. Но тот

молчит, на оконце устался, я молча перевожу взгляд туда же, но там уже никого. Исчезло угощение. Митрич с выдохом: «Все! Они, они, под снегом выходят, нарочно это окошко не откапываю».

Потом Митрич хвастает, что у него и другие гости бывают – косачи, что прилетают на сеновал к ночи, для них у него другое угощение – им он разбрасывает овсяную зеленку.

«Ну, вот и ты мой гость тоже, и тебя угощаю», - говорит Митрич, протягивая мне кружку горячего чаю, который он заваривает из трав, собранных им летом или выбранных из стогов сена.

Апрель 1982 г.

МОЛОКО ДЛЯ ЛИСИЧКИ

Это было во времена деревенского детства, когда я с ребятней до посинения купался в реке, днями, без перерыва, повинуюсь азарту, стоя по колено на мелководе, удил рыбешку в реке Иче.

Я отлично знал все местные окрестности и озера, леса и болота, и казалось, что в целом свете нет лучше края и человека счастливее меня.

Мне приходилось вместе с матерью ездить на покос, который находился у озера Андриково.

Как-то на исходе лета, когда уже начали вянуть травы, мы решили подкосить еще три-четыре копешки «на первый случай», как говорила мама. Место для покоса облюбовали на пустоши между ржаных полос, уж очень высокий и сочный рос там пырей.

После колхозной работы, ближе к вечеру, на телеге приезжали туда, выпрягали Гнедуху, отбивали косы, точили их, понемногу выкашивали пустошь. Когда я уставал, мама, жалея меня, отправляла к телеге, где я мог попить молока, съесть огурец с солью и хлебом, поваляться на охапке пахучей, только что скошенной травы.

Однажды во время такого отдыха я услышал со стороны небольшого курганчика, заросшего пыреем, странное потягивание, слишком тонкое и короткое, что-то скрытое и незнакомое угадывалось в нем.

Я поднялся и пошел в сторону осинового околочка, в тени которого находился курганчик. Обойдя вокруг него и ничего, не найдя, я зашел в осинник полакомиться спелой костяникой. Но вдруг в стороне от курганчика, у полосы еще не скошенного поля, я заметил небольшого рыжеватого зверька. Он сидел столбиком на задних лапках, и с любопытством разглядывал пасущуюся лошадь, стоявшую с косой маму. Зверек был похож на щенка, но острая мордочка и торчащие ушки выдавали в нем лесного жителя.

Заметив меня, он сделал несколько прыжков к курганчику, повернулся ко мне, затем в сторону нашего стана, вновь посмотрел на меня, поднял свою мордочку, обнюхал воздух и ловко юркнул в траву курганчика. Видимо, страх поборол в нем любопытство.

Я вернулся, вторично осмотрел курганчик, и обнаружил в нем входы и выходы, ловко упрятанные среди высокой травы.

Еще не раз приезжали мы, чтобы докосить траву, сгрести высохшее сено. И всякий раз любопытный зверек появлялся на границе скошенного поля, в том самом месте, где я увидел его впервые. Присев на задние лапки, он подолгу наблюдал за нами. Однако с приближением нас или лошади он поспешно скрывался в траве. «Видимо, лисенок», - догадывалась мама.

И вот, в минуты отдыха, я решил понаблюдать за курганчиком, для этого на старой осине устроил наблюдательный пункт. Первое время я не видел ничего интересного. Но однажды со стороны озера что-то мелькнуло во ржи, спустя какое-то время показалась взрослая лисица. В зубах она держала какую-то добычу – не то молодого косача, не то утку. При выходе на открытое пространство лисица огляделась и, не обнаружив никакой опасности, юркнула в нору, а через минуту-другую вновь оказалась на поверхности, в зубах у нее была все та же добыча.

Следом буквально выпрыгнуло все семейство – три желто-серых детеныша. Они вцепились в птицу и повисли на ней. В этот миг мамаша выпустила из пасти добычу, и лисята, превратившись в копошащийся клубок, покатались по траве. Благоклонно наблюдавшая за этой свалкой, лисица время от времени бросалась к добыче, хватала ее зубами, тянула к себе. Детки, также уцепившись за добычу, дружно упирались, и мамаша вновь отпускала, видимо, решив, что их азарт достаточно подогрет.

Я не дождался окончания трапезы, так как надо было собираться домой – время близилось к позднему вечеру. Осторожно спустившись с осины, я поспешил к стану, где мама уже запрягала Гнедуху.

Следующего дня я ждал с нетерпением. А когда мы приехали на покос, я первым делом налил молока в прихваченную с собой консервную банку и поставил ее вблизи курганчика. В этот день любопытный лисенок – Лиска, как мы его окрестили с мамой, не появился. Но к вечеру, к моему удивлению, банка оказалась пустой. После этого в каждый приезд я регулярно ставил баночку с молоком у курганчика, и она всегда оказывалась пустой.

Наконец, мы сложили сено в два небольших стожка, начали собираться домой. В последний раз пошел я проверить, цело ли молоко в баночке или увидеть кого-либо из зверей. По правде сказать, я вовсе не надеялся кого-либо встретить, но, обойдя курганчик, неожиданно увидел Лиску: он не то лакал, не то нюхал баночку. А около норы стояла и в упор смотрела на меня желтыми глазами мама-лиса. Заметил меня и лисенок. Он сделал несколько прыжков в сторону и остановился. Лисица тоже шмыгнула куда-то: то ли в бурьян, то ли в нору – я не разглядел. Не прошло и минуты, как она появилась опять, схватила Лиску за шиворот и скрылась в высокой ржи. Следом за ней метнулись двое лесных братишек-сестреночек. Я стоял, ошеломленный случившимся – все произошло так неожиданно и быстро. Видимо, осудила Лиску семья за его любопытство и доверие к людям.

... В конце сентября, когда трава и деревья налились осенними красками, я пошел проверить два наших стожка. День был ветрено-пасмурный, изредка моросило. Сено, как я и ожидал, оказалось целым. Коровы, пасшиеся в этих местах после уборки ржи, не тронули его. И тут, вспомнив недавнюю историю, я решил сходить к лисьей норе.

Осень оголила курганчик. Среди поредевшего бурьяна и высокой травы стали хорошо видны входы и выходы из лисьего домика. Рядом валялась опрокинутая, чуть покрывшаяся ржавчиной консервная банка. Следов пребывания Лиски и его семейства я не обнаружил.

Под сильными порывами ветра еще громче зашелестел осинник, разноцветными бабочками полетели по ветру сорванные с осин листья, резко ударили крупные капли дождя. Уходя, я оглянулся на заветный курганчик, и мне показалось: в редком, мотающемся по ветру бурьяне, мелькнуло что-то рыжее.

Укрывшись от дождя и ветра под старой осиной, с которой я наблюдал раньше за лисьей семейкой, я размышлял: был ли это отвыкший от людей подросток Лиска или кто-то из его родственников. А может, осень обманула меня, махнув своим рыжим платочком.

Вот такая хорошая была эта история.

Август 1983 г.

НАЙДЕНЬШ

Домик стоял на берегу реки Ичи. Кажется, он располагался на перелетном пути, а может, птиц было больше тогда, но помнится: лежишь, бывало, отдыхаешь ночью или на рассвете, особенно весной, и слышишь ни с чем не сравнимый шум птичьих караванов. Свист, крик, гогот и посвист крыльев, быстрых и медленных, больших и маленьких – гусиных, утиных, журавлиных, лебединых, куличковых, еще каких-то. Весенний спешащий птичий народ, такой разный и шумный, всяк шумит и переговаривается по-своему. Выйдешь, бывало, на крылечко, а над тобою – караваны, караваны нескончаемым потоком с юга – на север. Тут

же, в разлившейся болотинке за огородом и перед окнами, в реке, отдыхают те, кто устал или решил подкормиться, кто уже добрался до родимых мест. Шумят, ныряют, машут крыльями. Радует новая весна, жизни разноплеменный птичий народ. А караваны спешат и спешат.

Именно после такой весны, в самом начале лета, как раз напротив нашего домика, на другом берегу реки в кустах заметил я какую-то скотину. Прошел день, другой, а я неизменно видел ее там же. Животное было похоже на жеребенка, и мы, ребята, не придали этому внимания, потому что лошади с жеребятами частенько паслись там.

Когда мы шумной ватагой переплыли, то «жеребенок» забеспокоился, забился в ивовый куст. Был он весьма странным на вид. Очень длинные ноги, горбатый нос, длинные уши. Посоветовавшись, мы принесли веревку, сделали петлю и, накинув ее на шею животного, перетаскивали по мелководью на деревенский берег, а затем и в нашу ограду.

Подошел сосед и рассеял наше недоумение, сказав, что это лосенок. Задние ноги у него были покусаны каким-то зверем, был он очень обессилен и сразу же лег в холодке под навесом. Мы решили подкормить звереныша молоком. Бутылку молока через соску он высосал вмиг. Он просил еще, тянул шею за пустой бутылкой, облизывался и пытался встать. Мы хотели дать еще, но взрослые не разрешили, опасаясь, что с голодухи ему это будет вредно.

Какое-то время малыш поглядывал на нас, лежа на животе, но вскоре, не обращая внимания на собравшихся людей, а собралось полдеревни, уронив голову, крепко заснул, вздрагивая и подрагивая во сне. Мы осмотрели раны на холках, смазали их соком тысячелистника. Видимо, отбившемуся малышу, а может, мать погибла, выпали не по возрасту трудные испытания – страх, боль, голод.

Пришедшие из стада вечером овцы, коза, теленок обнаружили в ограде гостя и стали обнюхивать его. Лосенок испугался любопытствующих незнакомцев и забился в дальний угол ограды. Больше всех к гостю проявила любопытство наша корова. Обнюхав его, отчего тот резко отшатнулся от нее, она вздрогнула, попятилась, уставив рога, вновь двинулась на незнакомца, и... неожиданно для нас, кинувшихся было защищать малыша, лизнула его в горбатую мордочку, пахнущую ее собственным молоком. Мама отвела ее в сторону, уманив круто посоланным ломтем хлеба.

Шло время, приемыш освоился среди людей, давал себя гладить по спине и мордочке, жевал свежескошенную траву. Мы, ребята, звали его Яшкой, он охотно откликался на это имя. Если мы бегали во время игр, он охотно подключался к нашему веселью, старался кого-то обогнать. Нам было с ним весело. Невесело было только моей маме, так как по утрам она ничего не надаивала от нашей коровы.

Однажды на заре, когда самый сладкий сон, рассердившаяся мать сдернула с меня одеяло: «Куда хочешь девай своего разбойника!» Я не сразу понял, в чем дело. А оказалось, мать, выйдя в ограду, увидела интересную картину. Наша Буренка стояла, спокойно пережевывая свою жвачку, а Яшка жадно сосал из ее вымени.

В общем, попало мне, и Буренке, и Яшке. Утром я собрал ребячий совет. Решили мы увести Яшку в лес, да там его и оставить. Надели ему на шею петлю из веревки, потянули за собой, но из этого ничего не получилось. Яшка теперь окреп, подрос, стал сильным. Он свободно нас волок за собой в сторону дома. Бросили эту затею. Пробовали уманить его в лес бутылкой с молоком. Дали пососать, поманили в сторону околицы, потом опять дали молока. Яшка бежал за нами охотно, но возле леса молоко кончилось, и он вернулся в ограду.

Придя с работы и вновь увидев проказника дома, мама рассердилась. Она взяла хворостину и стала выгонять лосенка. Но Яшка не хотел покидать ограду или не понимал, чего от него хотят, бегал по двору мимо открытой калитки. Вот он сбил полено, подпиравшее калитку, и она захлопнулась. Яшка испугался, шархнул. Наш пес Волчок, с самого начала нехорошо посматривавший на лосенка, но терпевший его пребывание в ограде, на этот раз старался угодить хозяйке – с лаем кинулся на него. Яшка окончательно перепугался, перемахнул двухмет-

ровый тын огуречника, потом пересек огород, перепрыгнул городьбу пониже, и через болотце кинулся в лес.

Несколько дней никто его не видел. Вскоре пастух деревенского стада сказал, что Яшка трижды пытался попасть в стадо, но, опасаясь собак при нем, уходил обратно в лес.

Спустя два года тот же пастух утверждал, что однажды в лесу к стаду вышел молодой лось. Коровы сначала опасливо уставились на него, но скоро успокоились и принялись пастись. Пришелец прошел сквозь стадо, отыскал нашу Буренку и стал пастись бок о бок с ней. Весь день ходил лось около Буренки. Та была не против такого соседства, однако вплотную не подпускала лесного гостя. Пастух считал, что был это именно наш Яшка, поскольку он заметил у него белые пятна на задних ногах – следы укусов зверя или собак, полученные им в далеком детстве.

Октябрь 1983 г.

КРЫЛАТЫЕ УЧИТЕЛЯ

На озере Андриково из года в год гнездилась пара лебедей. Меня, тогда еще парнишку, всегда волновал вид этих величавых птиц. Тогда их можно было видеть довольно часто и по одиночке, и стаями, особенно весной. Что-то таинственное и сказочное, такое светлое и доброе, чистое, искреннее чудилось мне в сидящем на воде среди камышей лебеде. Очевидно, рассказы старших еще на меня подействовали: а говорили о том, что люди, убившие и разорившие лебедя, этим накликali на себя беду. У одного после этого пропала корова, у другого сгорела изба, у третьего умерла жена, а четвертый якобы после убийства лебедя утонул в этом самом озере, перевернувшись в лодке, когда проверял сети. Я и сейчас верю в это, а тогда... чувство таинственности и какой-то приятной тревоги охватывало мою душу при виде уютного озерка на фоне зеленого рямка и величавых сказочных птиц. За птицами наблюдал издали, потому что гнездились они на острове среди озера.

У лебедей тогда уже были подростки, еще мало похожие на своих прекрасных родителей. Это были еще не совсем сложившиеся, нескладные подростки сероватого цвета, без признаков изящности и благородного величия. Однажды, подходя к озеру, я услышал сильные удары по воде под восторженно-серебряные клики «крон-крон», которые время от времени прерывались и повторялись вновь.

Раздвинув камыши, я увидел на зеркале озера всю лебяжью семью. Двух взрослых птиц и трех подростков. Лебедушка сидела несколько в стороне, недалеко от нее кучкой, сплываясь и расплываясь, находились дети, папаша-лебедь в это время был будто бы озабочен и кругами плавал вокруг семьи несколько в отдалении. Но вот он замер на месте, приподнялся над водой, вытянув свою изящную шею. Сначала молча, а после под свое мелодичное «крон-крон» начал махать крыльями. Сделав несколько взмахов, он не спеша проплыл вокруг семейства и, вернувшись на прежнее место, повторил свое упражнение. На этот раз нескладные подростки, приподнявшись на воде, стали едва отросшими крыльями махать в такт ему. Так повторялось несколько раз. Затем вся семейка молча заплыла за островок.

Через день-два я вновь наблюдал подобную картину, но на сей раз удалось подметить нечто интересное. Один из подростков вдруг почему-то перестал махать крыльями, и бочком-бочком поплыл в сторону, явно стараясь удалиться от остальных. Лебедушка, до этого спокойно наблюдавшая за детьми, вдруг проявила характер, догнала чадо и совсем как гусыня, зашипев на него и изогнув дугой шею, как-то пыталась образумить. А когда это не подействовало, схватила клювом за оперенье на голове, по-родительски оттрепала упряма, добавив крылом по боку, вернула его к остальным.

Потом, через некоторое время, молодые похорошевшие птицы делали свои пробные полеты над озером – все выше, все дальше.

Пришла осень, и они, окончательно повзрослевшие, улетели вместе с родителями. А я только спустя несколько лет разгадал смысл занятий их семьи. Оказалось, что наблюдал я обыкновенные уроки, где в роли учителей были взрослые лебеди, так настойчиво передавшие своим детям умение полета, и то, что я видел, было не что иное, как тренировка – укрепление молодых крыльев. А почему лебедушка оттрепала птенца, и еще поддала крылом, нетрудно догадаться – один из птенцов был с ленцой, и попытался улизнуть с урока, за что и был наказан своей очаровательной матерью.

Март 1983 г.

ЖАДЮГА

Осенью, когда поспели кедровые орешки, отправились мы в тайгу добыть этого лакомства на зиму. Сначала попадались места, где орех был мелкий, недозрелый. Но один из наших знатоков наконец вывел нас на хорошее место, где шишка с кедра валилась от одного удара битой, а орех был крупный, ядреный.

Расположились лагерем. Время было вечернее, и мы решили заняться сбором завтра, а пока развели костер, сварили трех добытых на местном озерке уток, достали домашние припасы, сидим, ужинаем; и пошел разговор про рыбалку-охоту, грибы-ягоды, куда, как это водится у любителей природы, вперемешку с правдой вкладывалась и изрядная порция небывальщины. Все это понимали, и все что-то рассказывали по очереди, весело смеялись, с интересом слушая друг друга. Усталость от далекой нелегкой дороги на мотоциклах, вкусный и сытный ужин на природе среди соснового и кедрового леса, и теплый мягкий вечер навевали на всех настроение благодатное, и разговор шел непринужденно и весело. Попробовали и свежих кедровых орешков, а один из наших между делом нашелушил целых полведра отборных орешков. Наконец, все наговорились, уgomонились и моментально уснули, а я, несмотря на усталость, вслушиваясь в ночную жизнь хвойного леса, долго не мог заснуть. Шорохи, свист крыльев ночной птицы, запах хвои, крики обитателей леса и прохлада мягкой ночной сырости глухо обступили наше становище плотной чернотой осенней ночи. Человек вышел из природы, из леса, и поэтому лес манит нас своею щедростью и неисчислимым богатством, могучей силой и величием, но своей суровой действительностью требует уважения, заставляет считаться с собой, требует бережного отношения к себе. Так лежал я и думал, наверное, долго: не давало уснуть еще любопытное посвистывание и шорохи за палаткой. Зверек был явно небольшой, забавный, и, кажется, озорной и веселый.

Утром мы с удивлением обнаружили, что пластмассовое ведро с орехами, что мы оставили под сосной, оказалось пустым. Все мы очень удивились: кому же это надо в кедровом лесу, где полно орехов, воровать их у людей? Утром, уходя в лес, мы снова нашелушили в это же ведро несколько горстей орехов, оставив на прежнем месте.

На обед я возвратился первым, и сразу же заглянул под сосну, где стояло ведро. Воришкой оказался обыкновенный полосатый бурундук. Завидев меня, он сразу же метнулся на сосну, но, блеснув бусинками глаз на плутоватой мордочке, с раздутыми от орешков защечными мешками, вернулся назад и уже совсем близко от меня пытался уложить туда еще один, последний из ведра, орешек. Но мешочки оказались до того переполнены, что, как он не старался, это ему не удалось. Мне стало очень смешно, и я не стал его отпугивать. Ах ты, полосатый жадюга! Да неужели тебе мало орехов в кедровом лесу?!

Орешек он все же оставил, но, опорожнив где-то на сосне свои щечки-рюкзачки, вернулся вновь, ухватил этот последний орешек и вновь скрылся на сосне.

К обеду вернулись мои товарищи, я рассказал им историю про воришку. Кто поверил, а кто не поверил. Для убедительности я отобрал горсть самых крупных орешков и высыпал их в ведро. Не успел я отойти, как полосатая молния тут же упала с дерева, и все убедились в моей правоте. Особенно смешил их опыт с последним орешком, когда зверек на виду у всех

не мог его упрятать в свои защечные рюкзачки, а оставить было жалко. Все катались по земле от смеха.

Один из друзей решил проучить проказника. Всыпал в ведро горсть орешков, отошел в сторону, а когда бурундук юркнул с дерева в ведро, накрыл его телогрейкой. Мгновение, и... полосатый, пища и топорща хвостик, уже в наших руках. Однако даже в этом своем незавидном положении орешков из-за щечек не выпустил.

Товарищ этот, сколько мы его не уговаривали отпустить проказника с миром, забрал его домой. А перед самым городом, видимо, осознав, твердо решил выпустить полосатого. Пришлось бурундучка забрать мне – в преддверии осени, в чужой местности, без запасов зверек был зимой обречен.

Всю зиму зверек потешал детей и взрослых своей жадностью и поступками, всем он нравился, и все были от него без ума. Он в какой-то мере изменил своему лакомству – кедровым орешкам. Понравились ему сухие плоды шиповника и сухие ягоды лесной клубники, конфеты и сахар кусочками. Прятал он все это куда угодно, в карманы моего осеннего пальто, что висело в шифоньере, на шкафу и в пуховую шаль. Были с ним и неприятности – спрятал сахар в мохеровый свитер, а когда решил воспользоваться, то запутался и прогрыз в нескольких местах. И все же весной решили мы его выпустить на волю, не в родной лес, до того сотня километров, рассудив, что и в наших лесах живут его сородичи.

И вот в весенний апрельский день посадили полосатого в обыкновенное сито, накрыли сверху проволоочной сеткой и вынесли километра за два в лес.

А в лесу – благодать! В колках половодье, птицы летят караванами, березовый сок, играя лучами, прет из разруба. Пей, сколько душа желает, благодатный напиток! От солнца, от половодья в колках, от березовых стволов белых светло и празднично вокруг, оттого и душа полна светлой радости и хочется всем только добра и свободы. Руки сами так и просятся выпустить из сита полосатого пленника. А он, блестя глазами, жадно смотрит на этот весенний мир. Заволновался: Фьюить! Фьюить!» И мне кажется, что он просит: «Выпусти, выпусти!» Остановился. Смотрит блестящими бусинками мне в глаза, усики подрагивают, маленькие ноздри раздуваются и хвостик часто-часто дрожит. Опять шорох на старой осине – такой же полосатый бурундук, что у нас в сите.

«Фьюить! Фьюить!» - полосатый шорох вниз головой по осине до нижних сучьев – молнией. Уселся. Смотрит в нашу сторону.

Выпускаю своего полосатого пленника, он пулей – к осине: «Фьюить! Фьюить!» А с неба: «Курлы! Курлы!»

Вот уже полосатые молнии сиганули по осине вверх. Сели на развилке. Хвостики топорщатся. Мордочка – к мордочке. И... исчезли.

Спасибо тебе, полосатый проказник. За твои проказы. Будь счастлив с новой подругой. Да не воруй у незнакомых людей орешков среди кедрового бора. Люди-то всякие, могло и хуже кончиться твое приключение.

Сентябрь 1984 г.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ

В начале лета, пропалывая на садовом участке малину, я обнаружил чье-то крохотное уютное гнездышко. В нем лежало пять маленьких серого цвета яичек. Миниатюрное гнездышко было так красиво, что я невольно залюбовался им. Чей же это такой уютный семейный очаг? Вдруг совсем рядом на земле вижу крохотную серую пичугу. Темные, живые бусинки глаз смотрят на меня выжидающе-умоляюще. Я вспомнил, что таких пичуг у нас называют малиновками. Она, наверное, с тревогой думала про меня: вот сейчас великан совершит страшное – разорит гнездышко, в котором должны появиться дети.

Я остороженько выбрался из малинника. Птичка тут же шмыгнула к гнезду, а через мгновение уже сидела на заборе, как мне показалось, успокоенная и повеселевшая. «Проверила птаха, - подумал я, - все цело, и теперь сидит счастливая».

Вскоре рядом с ней появился и хозяин семьи с красивой радужной расцветкой на груди. Потом я его часто видел. Он бегал среди грядок, перепархивал по кустам и пел свою малиновую песенку. Спустя некоторое время он и его серенькая подруга стали усиленно ловить насекомых и носить их в малинник. Сначала я не решился приблизиться к гнездышку, но любопытство взяло верх. Поймав жучка и несколько гусениц, я осторожно раздвинул траву над гнездышком, и увидел: пять большеротых, голых и слепых головок тянутся ко мне. Юные птички даже прося корм, не издавали ни единого звука, каким-то образом зная, что здесь, в полевых условиях жизни, для них, беспомощных и беззащитных, лучшая защита, это – сидеть тихонечко, соблюдая конспирацию. Я нанизал насекомых на тонкий прутик, поднес мохнатую гусеницу одному птенчику. Желтый ротик раскрылся, один миг – и гусеница проглочена, потом и все остальные приняли угощение. Молча требуют еще. Но вдруг над головой раздается шум крыльев, и вот уже на малиновой веточке покачивается с добычей мама. Я поскорее ушел от гнезда.

Долгое время я не решался тревожить птичек. Но как-то мне захотелось показать жене открытое мной чудо. На этот раз я увидел не голых беспомощных малышей, а оперившихся, почти уже взрослых птичек. Они затаились, спрятав головки друг под друга, а птенчик, сидевший из-за недостатка места на спинках своих собратьев, втянул головку в себя. Я осторожно взял его. Маленькая, почти невесомая малиновка неподвижно сидела у меня на ладони. Глазки-бисеринки темненькие – открыты и смотрят любопытно и осмысленно. Жена сняла с листьев какую-то букашку, и хотела на соломинке преподнести это угощение, но, как на грех, таковой под рукой не оказалось. Тогда я взял букашку пальцами и поднес к клювику птенца. В тот же миг мы услышали громкий отчаянно-тревожный крик: «Чи-чи-лик!», ладонь моя опустела мгновенно, мгновенно опустело и гнездышко. Молодые малиновки так стремительно выпорхнули, что мы и не заметили, куда они попрятались.

Жена меня упрекала: «Корм-то на палочке нужно подносить, чтобы подумали они, что это в клюве». Да и я это знал, но не было же под рукой этой палочки, да еще бывали случаи, что брали у меня птенцы из рук, и – ничего такого не случилось.

Я был зол на себя – как они теперь без гнезда? Поди, разыщи их, а найдешь, так разве усадишь на место. На следующее утро проверил гнездышко. Оно оказалось пустым. Только росинки вспыхивали, переливаясь в солнечных лучах, по краям птичьего домика. Я совсем расстроился.

В полдень, однако, настроение мое улучшилось. Я увидел: малиновка-мама с клювом, полным козявок, юркнула в кусты, а через минуту выпорхнула обратно уже без добычи. Потом в малиннике я увидел, как через тропку перебегают какие-то маленькие, юркие комочки. А дня через четыре малиновок вдруг стало больше. Они беззвучно появлялись то на картофельном участке, то на овощных грядках, то среди ягодных кустарников, и так же беззвучно исчезали.

Вероятно, это были повзрослевшие малыши. Такого же мнения придерживался и сосед по участку, пенсионер, которому я рассказал обо всем. «Раз прилетели твои птички с кормом, то все их пичужки целы, - заверил он, - сейчас они уже сами козявок ловят. Не пропадут».

Малиновки каждый год в одном месте птенцов выводят, но в гнездышко я с тех пор не заглядываю. Я хорошо помню тревожный крик птенца, чувствую за собой немалую вину перед маленькими, почти невесомыми птахами, что с такой доверчивостью поселились рядом с нашим садовым домиком.

Февраль 1984 г.

САВРАСЫЙ

Был этот конек, несмотря на свой небольшой рост, нраву свирепого и непокорного. Песчано-желтой окраски с черно-коричневой полосой вдоль хребта. Приезжий калмык, что гнал гурт скота на летние выпаса, увидев Саврасого, с восхищением прищелкнул языком: «Сауран!» Что это означало, для меня, тогда еще деревенского мальчика, было неизвестно. Кажется, он был восхищен этим маленьким коньком. Так или иначе, но от этого мне было мало радости.

Как говорила мама, колхозу он достался тогда, когда в разоренные после войны хозяйства пригоняли боевых и ездовых коней, что были в армии теперь лишними. Была в нем необыкновенная злость и выносливость. Даже при ловле его, даже спутанного, мне частенько доставалось то кованым копытом, а то и зубами за лицо. Я внимательно следил за его поведением, и при случае мне все же удавалось увернуться или закрыть лицо. По правде говоря, я его боялся, когда приходилось его ловить перед работой, однако приходилось это делать. Было у него и достоинство: маток с жеребятами он держал под своей опекой, хотя и был мерин, не уступал этого даже крепким жеребцам.

Как-то мне его нужно было срочно поймать. Однако он лягался, скалил зубы, становился на дыбы, пытался бить копытами, хотя и был стреножен. Сегодня он был в каком-то остервенении, и мне пришлось от него отказаться. Саврасый, стреноженный, при моем приближении лягался, щерился и скакал в разные стороны, и весь табун лошадей следовал за ним. С трудом мне удалось поймать рослую гнедую кобылу. Наконец, после долгого брожения по высокой росистой траве, я, весь продрогший и промокший, взобрался с высокого пенька на лошадь и хотел было ехать, как вдруг увидел, что спутанный Саврасый вернулся от табунка, быстро поскакал к пойманной гнедой, и не успел я сообразить, в чем дело, как резкая боль от крепких копыт обожгла мне бедро и ногу. Я моментально свалился с лошади, и где-то в затуманенном от боли и падения сознании мелькнуло: «Убьет!» Гнедая, теперь свободная, тут же галопом убежала к табунку, наступила на волочащийся по земле повод, освободилась от уздечки. От сильного падения и боли в ноге я потерял сознание.

Через какой-то промежуток времени я почувствовал тень на лице. Что-то мягкое коснулось моих губ, щеки, исчезло. Опять коснулось, и теперь уже ясно слышу прикосновение лошадиных губ и ласковое негромкое ржанье: «И – хо-хо-хо!» Не открывая глаз, пытаюсь угадать, кто же это? Гнедая вернулась, или другая лошадь? Но передо мной, вернее, надо мной, стоит... Саврасый. Я не узнаю его, так он изменился: глаза его, обычно злые, сейчас смотрят на меня добро, сострадательно, пылливо. Уши его, только что зло поджатые, теперь повернуты вперед – ко мне, он стоит надо мной, склонив свою желто-песочную голову, обдавая теплым дыханием. От этого мне щекотно, и я легонечко отталкиваю ладонями его бархатные губы, пытаюсь встать, но встать не могу. И тогда он поднимает умную свою голову в сторону деревни, ржет призывно-громко в расстилающий туман. Явно зовет на помощь.

Я поднимаюсь с огромным трудом, болит нога, бедро, сильно ушибленная при падении спина, голова от боли затуманена. Оглядываюсь. Табун лошадей в тумане пасется. Шагах в десяти нахожу в росистой траве уздечку с оторванным поводом, кое-как связываю. Саврасый ждет. Спокойно. Я уже не боюсь его, он добрый и участливый, покорно стоит, дает взнуздать себя, распутать. Он ждет, подставляет свой бок. От боли, не помня как, с того же пенька кое-как взбираюсь на его спину, и он осторожно трусит к деревне. Я еле держусь на нем, а в одном месте срываюсь и падаю на укатанную и окаменевшую от зноя дорогу. Опять чувствую на лице его теплое дыхание, мягкие губы, чуткие ласковые ноздри, слышу его просящее: «И-хо-хо!» – вставай, значит. Но встать я уже не могу...

Подняли меня деревенские мужики. Оказывается, Саврасый прибежал в деревню и долго крутился возле деревенской конторы, ржал, бил копытами в крыльцо. Увидев, что на нем узда, люди обратили на него внимание. Однако в руки он им не дался, а трусцой побежал, оглядываясь на деревню, в поле. Поняв, что он зовет за собой, мужчины пришли мне на помощь.

Потом из окна сельской больницы я увидел, что Саврасый понуро топчется у заборчика перед зданием больницы, ржет, поглядывает в его сторону, в сторону моего окна...

Прошло много времени, но мне до сих пор помнится этот небольшой песочно-желтый конек с черно-коричневой полосой по хребту, такой злой, такой милосердный и умный. Спасибо тебе, Саврасый, ты на всю жизнь научил меня любить и ценить братьев меньших. Спасибо тебе, Саврасый...

...А что означает слово «сауран», я до сих пор не знаю, и только гадаю: добрый, злой, желтый, маленький или красивый? Это известно только тому пожилому проезжему калмыку, что был так восхищен этой маленькой желтой лошадкой.

Июль 1984 г.

ВПОЛНЕ ОХОТНИЧЬЯ ИСТОРИЯ

- Да не стрелял я в них, я их только за лапы стаскивал, - отвечал мне хороший мой знакомый, когда я решил разузнать, как ему в компании охотников-любителей удалось добыть прошлой осенью, в ноябре, двух волков – матерую волчицу и переярка, а третьему, тоже переярку, наверняка раненому, все же удалось уйти.

К моей просьбе рассказать, как было дело, он отнесся без энтузиазма. Но, видимо, учитывая наши давнишние приятельские отношения, мой собеседник поведал для меня интересную историю.

- Поехали мы с братаном под Убинку после октябрьских праздников на боровую, куропаток там в одном месте каждый год тьма бывала, зайчишка среди полей в заболоченных колках и ночью на озими, днем в чаще хоронятся - место хорошее, дичь еще водится. У одной деревеньки мужичок встретился на лошади, копешку сена вез на телеге, поведал, что волки в окрестностях объявились. Признаться, волки мало нас интересовали – зверь этот умный, хитрый и весьма осторожный, днем встреча с ним маловероятна, да и не готовы мы были – в патронах дробь «тройка» и еще помельче. У леса, где всегда транспорт оставляли, встретили еще двоих охотников барабинских, знакомых по прошлогодней охоте. Поговорили, цепью, как обычно, двинулись по заболоченному кустарнику, березовой молодой поросли. Я шел самый крайний, дважды поднимал с лежки зайцев, но в кочкарнике, высокой траве они быстро исчезали – я не успевал сделать и выстрела. Не слышал я и выстрелов со стороны моих товарищей по охоте, а брат мой, что шел слева, и совсем исчез – ни голоса, ни выстрела, даже веточка не хрустнет, будто я совсем один. Наконец, мне удалось выстрелить по дичи – шагах в десяти неожиданно выпорхнула пара куропаток. Я выстрелил по одной, по другой, но упала одна, вторая же – сразу заметил, что неудачно, крыло лишь сломал. На поиски отправился нехотя, безо всякой надежды найти в таком закоряженном кустарнике, траве и буреломе подраненную птицу, сам знаешь. Но разыскал я ее неожиданно быстро, добывать выстрелом не стал, надеясь поймать. Раза три она была уже почти в моих руках, но всякий раз у меня оставались только перья, а куропатка, выскользнув, пыталась скрыться в чаще. Наконец, выбившаяся из сил, раненая птица зацепилась перебитым крылом в густом валежнике, оказалась в моих руках. Только прибрал добычу в сумку, как слышу оглушительный дуплет, за ним – второй, и оба в мою сторону. Часть дробы от выстрелов пробилась сквозь кустарник ко мне, завизжала шагах в двух от меня, секанула по кустам за мной. Я присел, ругая спутников за неосторожность, хотел только закричать на них, как новый дуплет опять ударил в мою сторону, срезанные дробью веточки посыпались с куста, под которым я только что изловил раненую куропатку. Тут я заорал приятелям, что было мочи. Хотел было подняться, как новый выстрел секанул по кустам чуть в сторонке. Тогда я опять что было мочи заорал: «Да вы что, совсем очумели! Сдурели!» Думал, зайчишку окружили, да мажут по нему, мазины. Но вот слышу голоса: «Туда, туда ушел, держи!» Ну, думаю, охотнички, так вашу растак, заяц шалопутный и то от вас ушел, столько патронов спалили, меня тут в страхе под кустом держат. Совсем залег под куст, кричу

им и слышу ответ: «Жив, что ли?» Выходи!» Совсем я тут озлился, поднялся из-за куста, иду на их голоса, не иду – переваливаюсь через кочкарник, продираюсь сквозь густой кустарник вперемишку с высоким камышом, ломлюсь через бурелом, валежник. Наконец, добрался до прогалины, вижу – стоит братец мой, ружьем машет, выходи, мол, не бойся. Окрестил я его в сердцах трехэтажным отборным словом, как вижу – барабинский охотник, что подальше стоял, ружьем мне показывает на землю, а там что-то серое, большое. Подхожу с удивлением, с опаской. Барабинец заметил: «Наповал слегла. Сама, волчиха».

Зверь матерый, злобно оскаленный желтоватыми клыками в мою сторону, лежал на правом боку. С виду его можно было даже принять за большую собаку, но окраска шкуры была для собаки весьма необычной, а злобный оскал клыкастой пасти и вовсе опровергал это первое обманчивое впечатление. Ниже левого глаза зверя, к серо-палевому стоячему уху кровила тяжелая дробовая рана с близкого расстояния. Вторая, такая же – под лопаткой в левом боку. Видимо, обе раны были смертельными для матерого зверя. Вторая рана, видимо, только опрокинула уже мертвого, но все еще бегущего зверя, на правый бок. Суховатые серо-желтые выносливые лапы застыли в отчаянном, но осторожном беге.

- Глянь, - сказал мне барабинец и тронул меня за локоть. Я поднялся с корточек. Брат стоял метрах в сорока от нас с ружьем наизготовку, направленным под черную развесистую коряжину.

- Этот наповал, а этот поднялся, - сказал как-то спокойно барабинец. Он ткнул стволом под коряжину: «Небось, теперь не уйдет». Под коряжиной я заметил второго зверя, и он поразила меня своим взглядом – тяжелым, обреченным, полным ненависти. Руки невольно взяли ружье наизготовку. Подошли ближе, ружья наизготовку. Ранее я не верил рассказам, что раненый волк бросается на охотника. Теперь же взгляд, полный ненависти, обреченности и достоинства, умный, тяжелый взгляд буквально пронизывал меня. Ни у кого в жизни не приходилось мне видеть такого взгляда. «Без сомнений – кинется», - представил я. Кинется безмолвно, уверенно, отважно. Кинется в любой обстановке, выгодной или невыгодной для него, все равно кинется в жестокую последнюю схватку, и в ней пощады не жди – терять-то ему нечего. Невольно где-то под замершим моим, оцепеневшим от этого взгляда сердцем, ярко вспыхнула искра огромного уважения к этому серому зверю. Подошли ближе, зверь сидел на задних лапах и не пытался ни броситься на нас, ни убежать. В груди кровила сквозь шерсть рана, вторая рана кровила в хребте у самого зада. Она и была для него роковой – от нее парализовало задние лапы. Те сорок метров от того места, где лежала убитая волчица, до сухостойного дерева были для волка последними.

Я обломил валявшуюся сухую осинку толщиной с руку, очистил от сухих веточек, барабинец вооружился дубинкой покрепче. Обреченный зверь спокойно и молча наблюдал за нами. Я приблизил палку к морде зверя – реакция была мгновенной: точные, мощные челюсти цепко сомкнулись на деревяшке. Дерево хрустнуло, я потянул дубинку, но вырвать ее было невозможно. Ни взад, ни вперед, ни крутнуть ее – широко расставленные лапы прочно упирались в осеннюю землю, из раны в широкой груди закапала густая черная кровь. Барабинец, подойдя с другой стороны, своей дубиной сделал несколько ударов по голове зверя, волк повалился на бок, но моей дубины не выпустил. Так я вытянул его на ней из-под коряжины. Палку потом высвободили, все мы и подошедший второй барабинец подивились следам зубов на ней.

По едва заметным следам на траве, кочках, по крови пошли искать третьего раненого волка. Занятие это было не из легких, мы быстро вымотались, следы терялись в дремучем болотном леске с высокими кочками и валежником. Снегу почти не было, шли только по следам крови. Они сквозь чащобу и валежник привели нас в заболоченный глухой колок, прошли через замерзшую болотину и скрывались в высоком камыше. Лед был еще тонок, я и один из барабинцев провалились в ледяную воду по пояс. Лед проваливался и дальше, под студеной

водой – не менее студеной топкая болотная няша. Дальше идти было бесполезно. Мы вернулись к добыче.

Здесь я приволок убитого волка к лежащей на поляне волчице, здесь мы отдохнули, подсушились. Я получше рассмотрел добытых зверей. Волчица была много крупнее второго. Окраска их была не серая, трудно даже сказать какая, в ней смешаны все краски осеннего леса и поля, красивая окраска, только не серая, и звери даже мертвые были по-своему красивы.

Потом мы уже установили. Волков с дневной лежки поднял я. И вовсе не выстрелами, когда вылетали куропатки, а когда я ломился за раненой птицей. Совсем близко от того места, где я поймал подраненную куропатку, мы обнаружили их лежку. Всего было шесть зверей – три следа уходили к месту, где были добыты звери, три в противоположную сторону, в заболоченные дебри. Умные хищники после моих выстрелов, видимо, чувствуя себя в полной безопасности, выжидали, но когда я начал ломиться в их сторону за раненой птицей, метнулись в разные стороны, потеряв всякую осторожность.

Брат с барабинцем услышали мои выстрелы, сошлись на небольшой прогалине, чутко передохнули, тронулись дальше. Оглянулись на шум и топот сзади – перепуганные мною звери мчались наметом по траве и кочкарнику, что почти никогда не случается с этими хищниками. Брат стрелял первым в набежавшую на него волчицу с расстояния не более пятнадцати метров, барабинец сдул в следом набежавшего переярка тоже с близкого расстояния – шагов с двадцати. Волчица свалилась сразу же, переярка тоже упал, но тут же следом выскочил другой переярка. Брат едва успел вставить только один патрон, выстрелил в него, тот крутанулся и шмыгнул в чащу. Они кинулись за ним, но вернулись, услышав мой крик. Скошенный выстрелом барабинца переярка медленно поднялся и дошел до коряжины, там и свалился с парализованной задней частью и лапами. Там я их всех и увидел.

Потом мы ездили туда, искали третьего. Нашли в том околке, где провалились, его лежку, кровь, но сам ушел,лизал рану, отдохнул – выстрел дробью-«тройкой» с тридцати-сорока метров для него... не куропатка все же.

- Нет, сам я не стрелял в них, только за лапы стаскивал, вот и вся история, - закончил свой рассказ приятель.

Ноябрь 1984 г.

ЛИСА И ВОЛЧОК

Терялись по осени в деревне гуси, то один, то два, некоторые к вечеру приходили покалеченные. Для деревни это новостью не было: вокруг леса, болота – приволье для зверья дикого. Стояла осень, и это случалось осенью каждый год. Гуси переплывали на другую сторону реки, через заросли конопли и бурьяна шли на уже сжатое поле пшеницы, что возле леса, там собирали опавшее зерно и оставшиеся колоски, кормились.

Сельчане горевали, особенно женщины, переходили на другой берег, ходили к полю, шарили по бурьяну, обнаруживали следы разбоя, но самого разбойника не находили. Только догадывались, что это какой-нибудь зверь – лисица, волки или бродячая собака. Так или иначе, но гуси терялись этой осенью чаще прежнего.

В один из октябрьских ясных дней с собакой я с утра бродил по перелескам. Возвращались без добычи. Тетерева, уже пуганные, вылетали далеко и уходили без выстрела. Мой пес Волчок – крупная серая дворняга, об охоте имел представление своеобразное. Он мог иногда добросовестно разыскать в камышах подстреленную утку и принести к моим ногам, но мог принести и... не отдать. Как только я протягивал за добычей руку, он, рыча, хватал зубами, оттащивал дальше. После нескольких таких сцен мог сожрать дичь на моих глазах, хотя это случалось редко, и после, как ни в чем не бывало, мог подойти ко мне, виновато виляя хвостом и облизываясь. Случалось, что он бывал наказан, когда добыча по-хамски бывала съедена у меня на глазах, потому что подходить к Волчку во время его трапезы было небезопасно. За

неимением лучшей собаки я мирился с его недостатками. Хотя были у него и достоинства – он был примерным сторожем дома. В абсолютной дружбе жил со всеми домашними животными, спал с котом в конуре, но стоило соседскому цыпенку сунуться в ограду, он тотчас же убегал без хвоста, а пес со спокойным видом ложился на крыльцо, безразлично выплевывая перья незадачливого петушка. Для того, чтобы впустить в дом незнакомых людей, Волчка запирали в рубленый хлев, где он метался, оглашая окрестности лаем, царапал лапами и грыз зубами дверь.

Вот с ним и пробродили мы золотой октябрьский денечек, вышли к деревне без добычи. Не дойдя до реки, я остановился около крохотного озера, поросшего кугой и камышом, чтобы передохнуть. Здесь я решил покараулить прилетающих касатух. Яркое не по-осеннему солнышко начало проваливаться за горизонт, крикухи не летели, и я уже хотел уходить.

Вдруг мой пес стал проявлять признаки беспокойства – нюхать воздух, ворчать, то ляжет, то встанет. Я прищипнул на него, а он, чуть отбежав, поскуливая, стал пристально вглядываться в сторону деревни. Я тоже стал всматриваться туда же, и в последних лучах солнца увидел: на берегу реки пасутся табунки белых и серых гусей, а между нами и ими крадется, нет, скорее, стелется, зверь цвета осеннего поля. Не почуй его Волчок, трудно было бы различить на желтой осенней траве. Пес, видимо, зверя еще не видел, и всматривался очень пристально, глухо и недовольно ворчал. Я видел, что крадущийся зверь уже готовился к прыжку на ничего не подозревающих птиц, и не знал, что предпринять – стрелять в сторону деревни в зверя было нельзя, и расстояние-то было приличное для утиной дробин. Однако Волчок опередил меня в своем решении. Он беззвучно, словно соблюдая конспирацию, сорвался с места так стремительно, что земля полетела из-под его могучих лап, в сторону изготовившегося к прыжку зверя. Я отстал – что мне оставалось делать.

Волчок не справился с азартом, и в десятке метров от лисицы, уже прыгающей на гусей, разразился громким лаем. Рыжая молния метнулась к табунку птиц, почти схватила одну и, тут же выпустив, метнулась от набросившегося пса. Что тут было! Рычанье, заливистый лай, гогот и хлопанье крыльев обезумевших птиц, – часть гусей кинулась в реку, часть взмыла в воздух, часть бросилась в высокий бурьян, разлетелась, разбежалась по берегу. Лисица, увидев перед собой реку, кинулась вдоль берега. Наткнулась на протоку, замешкалась. Пес было настиг разбойницу, но та, крутанувшись на месте, бросилась с обрыва в реку. Тяжелый пес со всего маху ткнулся мордой в землю и, потеряв драгоценную секунду, неуклюже кинулся следом.

Я подбежал к обрыву. Лисица очень проворно и уверенно гребла к берегу. Волчок отставал, но греб отчаянно, явно проигрывая в скорости. Плутовка легко преодолела реку: когда псу оставалось проплыть еще четверть расстояния. От досады Волчок отчаянно взлаивал, захлебываясь водой.. Время было упущено, но пес, выскочив на берег, устремился изо всех сил вослед за плутовкой, полоша деревенских собак, обрастая визжащей и лающей погоней на прямой деревенской улице.

Собачий лай удалялся за деревней, сзади меня кричали пришедшие в себя гуси, разлетевшиеся, разбежавшиеся по полю до самого леса. Я постоял на берегу, пальнул в воздух для остротки разбойницы, и пошел домой.

Домой Волчок прибрел уже за полночь, поскреб в дверь лапой, получив от меня краюху хлеба, убрался в свою конуру.

Лисица, по всей видимости, обвела вокруг пальца всех напористых и прямолинейных деревенских псов, но гуси той осенью больше не терялись.

Октябрь 1985 г.

КАК МЕДВЕДЮ «ОТОМСТИЛИ»

Эту историю мне довелось услышать на охоте. Насколько она достоверна, судите сами, я же постараюсь передать читателю ее точь-в-точь, как сам слышал из уст рассказчика.

Мы ждали на озере северную утку, но она не шла. Вечером, промокшие и продрогшие, мы все же собрались у костра. Решили было уже залазить в палатку, как из темноты вдруг раздался голос: «Здравствуйте, охотнички! Не пустите ли погреться?» Мы даже ответить не успели, как затрещали камыши в приозерной болотине, и из-за кустов появилась мужская фигура в ватнике и ушанке, в болотных сапогах и с ружьем.

- Запутался вконец, решил путь сократить, в темноте ушел в сторону, да идти-то больше некуда, там болотина глубокая, утонуть можно, вышел вот на ваш огонек, - как бы оправдываясь, сказал незнакомец. – Теперь уж до утра к своим не выйду. Вот беда-то.

Мы пригласили незнакомца к костру, предложили поесть, налили чаю, а когда тот подкрепился, успокоили, предложив ему остаться с нами до утра. Разговорились. Нашему гостю на вид было лет шестьдесят. Он все сокрушался, что не вышел к тому месту, где у них со сватом палатка стоит, что тот теперь будет беспокоиться. Выходило так, что он прибрел аж с соседнего озера, что километрах в пяти, плутая в темноте в глубокой болотине с камышом выше человеческого роста. Перестав сокрушаться о происшедшем с ним, он вдруг усмехнулся и произнес:

- Интересная история у нас с этим моим сватом приключилась лет двадцать назад. Никому не рассказывал, да вы люди незнакомые, вам, думаю, можно. Если хотите, слушайте.

Сват тогда купил новую «Волгу», и немного загордился. Однако гордость-то гордостью, а когда подошло время кедровый орех брать, сват давай передо мной лисом ходить. Я ведь все места знаю, отец мой всю жизнь лесничим работал, в глуши жили. Так вот, зовет меня сват за орехом. Я молчу – чуть в обиде на него был. За его зазнайство, значит. Он опять зовет. Все равно молчу. Тут он стукнул шапкой о землю: «На новой «Волге» поедem, да ишшо и выпивка моя. Соглашайся!» И я опять молчу. Он говорит: «Гармонь возьмем с собой ишшо, елки зеленые!» Ну, тогда, значит, я согласился.

Взяли с собой все, что сват обещал, да «тозовку», да двустволку на всякий случай, да еще кума взяли и шурина моего. Приехали к вечеру на место. Погода хорошая была, тепло, сухо, вроде как не осень. Развели костер, по рюмочке, да по второй, до песен дошло под гармонь. Гуляли до полночи. Хорошо! Только не знали мы, что нас завтра ожидает.

Утром повел я их в лес. «Волгу» оставили на мостке старом, что через реку Ургульку поставлен – путь теперь там заброшен, никто не ездит туда. Так машину со всех сторон видно было. Все ценное в машину закрыли, и ружье с «тозовкой», значит, оставили – подумали, что не стодится, и после гулянки с собой таскать лишнее железо тяжело. Во всяком случае, так сват рассудил, ему после гулянки тяжело было, мы согласились.

Ушли. Набрали по мешку орехов, и захотелось свату к стану идти. Видно, похмелиться ему было невтерпех. Сманил всех.

Не дошли до мостика малость, слышим, будто кто железом по стеклу водит. Остановились, переглянулись. Тут сват мешок да топор как бросит, да бегом к мостику. Мы – за ним. Слышим сватов голос, аж со слезами: «Кыш, проклятый!» - будто на птицу какую. Сват уже криком исходит: «Пшшел вон!» Выбежали. Смотрим, у «Волги» кто-то в шубе возится. Разглядели, а это сам Михаил Иванович! На нас оглянулся, да когтищами как деранет по капоту. Скрежет, рев. Рев Михал Иваныча, но пуще него сват ревет. Он, бедняга, голос сорвал, криком изойдя, с кулаками было на медведя бросился, но одумался. Орет опять: «Кыш, кыш, проклятый!» И смех, и грех. Заорали в один голос. А Миша нас несколько не испугался. Зашел с другой стороны, и – когтями по кабине, краска так и полетела. Сват чуть в обморок от этого не брякнулся.

Вспомнили, что надо пошуметь железом. Ведро-то у меня в руках, а ударить, как на грех, нечем. Кум побег за топором, что сват бросил. А медведь зашел тем временем сбоку «Волги», и давай ее раскачивать, в речку норовит сбросить. Ладно, сват на скорости и ручнике оставил. Мостик ходуном ходит, вот-вот рухнет. Миша все делает не торопясь, нас будто не замечает, знает – стрельнуть нам нечем.

Прибежал кум с топором, ударили по ведру, загремели. Ушел, наконец, медведь – нехотя и с оглядкой. Сват сразу – к машине. Краска изодрана полосами, заднее стекло треснуло, на кабине и капоте вмятины. Видно, в наше отсутствие Михал Иванович даже поплясал на ней. Не совсем для меня понятно, почему Миша так себя повел, уходить не хотел, к тому же...

Ушел медведь. Сват бегает вокруг машины, краску ладонями приглаживает, что-то шепчет, будто помешенный. Кое-как успокоили его, рюмку хорошую ему налили, сели поесть. Немного погодя куму взбрело в голову – медведю отомстить. Взял он топор, шурина «тозовку», а я ружье, и пошли. Свату – не до того, у машины остался. А мы ломимся через кусты наугад. Я поотстал. Вдруг слышу: мчится кто-то на меня. Щелк – «тозовка» стрельнула. Рев, топот. Вырывается из чащобы навстречу мне кум да шурина, а за ними – косолапый. Мать честная! Я и про ружье забыл. Бежим. Хватились – кума нет. Мы – назад. Смотрим – кум лежит без движения, а медведь уже когтями замахивается. Заорали, мое ружье неизвестно куда из обоих стволов выстрелило. Шурина «тозовкой», как дубиной, над головой размахивает. Видно, мы и правда страшные были с перепугу, что медведь кинулся от нас прочь.

Подбежали к куму, а он, кажись, холодный, и топор в руке зажат мертвой хваткой. Крови на нем нету. Подняли, а он не распрямляется, и топор из руки высвободить не можем. Так с топором в руке, согнутого, и принесли на стан. Пульс, однако, бьется. Отлили его водой холодной. Пришел в себя, стонет: «Ох, помру сейчас. Ох... радикулит проклятый...» Сват уже малость смирился со своим горем, только приговаривает: «Что я теперь Марье-то своей скажу? Разве она мне поверит? А, мужики?»

В городе сдали кума в больницу так и согнутого, с топором в руке. Две недели он там пролежал, выпрямили его там, и топор рука его выпустила. Из больницы сам принес. Радикулит, говорит он. Но я думаю – от страха это у него. Сват Марье, супруге, то есть, пытался говорить, как дело было, та и слушать не стала. До сих пор думает, что «Волгу» пьяный разбил. Я тоже ей говорил, она выслушивает вежливо, но ухмыляется так, себе на уме – говори, мол, говори, так я и поверила. Не верит... Во... какая. Ну, а кум! Кто знает, что между ними произошло, только с того раза он пить перестал совсем. Никому до сих пор об этом не рассказывали.

И еще я думаю, что, наверное, мы не на того медведя в кустах напоролись. Тот убежал наверняка далеко, а этот лакомился себе малиной, пока мы с криком да с ревом на него выломались. «Отомстили, называется. А все произошло оттого, что очень уж неаккуратно мы в лесу себя вели. Природу надо уважать, и с нею считаться.

Октябрь 1984 г.

СТАРИК И БОГ

Он был крепок и стар. Косматая седая борода веником, сутуловатые плечи, большие узловатые руки, длинная синяя в белый горошек рубаша, подпоясанная пояском с кисточками – все делало его похожим на Льва Толстого. Серые его глаза смотрели из-под косматых бровей не по-стариковски пытливо, с каким-то вызовом. Что Гаврилыч был стариком добрым, я понял только спустя годы, но...

Бывало, мы, мальчишки, облепим его забор, смотрим на него, как на чудо, а он, вдруг взмахнув своим посохом, грозно крикнет: «Ге-е-еть!» - тряхнув бородой; нас словно ветром сдувало.

Жил старик со старухой и малолетними внуками, моими приятелями. Внуки, мальчишки примерно моего возраста, были сиротами, детьми не то его многочисленных дочерей, не то племянниц, почему-то умиравших в молодом возрасте. Когда я заходил к ним в дом и проходил в горницу, то неизменно видел свечу, теплившуюся возле многочисленных икон.

Сам Гаврилыч был потомком староверов, каким-то образом смирившихся с миром. Единственный его сын, дядя Ваня, пришел с фронта на протезах и костылях. Но даже в таком незавидном положении было видно, что это был крепкий волевой человек, лихо играл на гар-

мони, а на протезы умудрялся надевать сияющие как солнце, начищенные хромовые сапоги, и впоследствии выучился ходить на протезах без костылей. Прожил он недолго, но его яркая личность даже сейчас, сквозь годы, помнится мне отчетливо.

И дядя Ваня, и сам Гаврилыч были как-то в дружбе с моими родителями. Гаврилыч был великий мастер плести корзины, и вся округа пользовалась этими его великолепными изделиями. Имелись его корзины и у нас в доме. Кроме того, Гаврилыч был также отличным плотником и столяром, умел красиво городить плетнем. Чего только не умел делать старик!

Он появился у нас в доме неожиданно, тогда-то я поближе познакомился с ним. Было мне тогда лет шесть. Поставив посох в угол, пригладив ладонью бороду, он широко перекрестился двумя перстами на передний угол, поклонился слегка отцу, матери, и, кажется, мне. Суров и дивен был старик обликом, и я, не сводя с него глаз, был готов в любую минуту чесануть в дверь.

В этот день я работал с дедом – ладил он на нашем огороде свой великолепный плетень. Я подавал ему прутья тальника, которые он укладывал и заплетал очень искусно вокруг и между вбитых в землю кольев. Получалось очень красиво и прочно, и, казалось, даже ветерок не проникал через такую изгородь. Гаврилыч работал без отдыха, отложив свой посох, и я едва успевал за ним. А если мне случалось замешкаться, он сердито вскрикивал: «Ге-еть!» Я пугался, вздрагивал, но дед мне был не особенно страшен – я был теперь его помощник.

День выдался жаркий, длинная его рубаша взмокла на спине от пота. Гаврилыч утирался рукавом, но не отдыхал. Я тогда еще, будучи мальцом, был очень удивлен – чем-то не немощным, не старческим вяло от его сутулой фигуры.

Но вот подошло время обеда. Работу мы с дедом закончили, мама позвала нас за стол. Дед вытер рукавом лоб, разогнулся, умылся оставшейся водой из крынки, что оставила нам для питья мать, утерся подолом своей рубахи, несмотря на то, что под рукой было чистое полотенце, припасенное для этого. Потом он осмотрел свою работу, довольно крикнул, взял посох и тут же опять показался мне старым и даже немощным.

Дома на правах взрослого меня посадили за общий стол. Вместе с небогатой, но здоровой деревенской снedyю мать выставила на стол четушку, налила в стаканы отцу и деду и, сказав: «Чем богаты, тем и рады», отошла, прислонилась спиной к большой русской печи, сложив руки на груди. Дед перекрестился в угол и, не обращая ни на кого внимания, стал не спеша и степенно есть. К стакану с водкой он так и не притронулся. Ел с аппетитом, но не жадно. Размерно и медленно шевелилась его седая борода. Я во все глаза разглядывал деда, забыв про еду. Пища исчезала где-то в бороде, ни зубов, ни губ я так и не увидел. В такт шевеления бороды на суровом шнурке на его могучей шее, заросшей седым волосом, раскачивался нательный медный крестик. Насытившись, Гаврилыч степенно отодвинул посуду, давая понять, что настала очередь пить чай. Так же медленно и не спеша он долго пил чай со смородиновым вареньем и пирогами.

И вот чаепитие закончилось, дед отодвинул кружку, повернулся на табурете, достал из кармана штанов кожаный засаленный кисет с рубленным самосадом, долго набивал им старую черную трубку, и, наконец, задымил ею. От крепкого табачного дыма я, не сводивший с деда глаз, неожиданно закашлялся, слезы так и брызнули из глаз моих. Чувствую вдруг на своей щеке мягкое, щекочущее прикосновение дедовой бороды, медленно, ласково ложится мне на голову широкая, жесткая, пахнущая табаком дедова ладонь. Я вздрогнул, замер, даже кашлять перестал. Дедова ладонь сильнее прижалась к моей макушке, съехала на затылок, потом несколько раз осторожно пошлепала по моей костлявой спине. Слышу дедово ласково-довольное: «Хе-хе-хе!» Поднимаю глаза. Передо мною, моим носом дедова борода, волосатый широкий рот открыт в довольной улыбке. Вижу крепкие, слегка пожелтевшие зубы. Серые, широкие, с лукавинкой, добрые глаза – веселые и ласковые.

После этого я чаще бывал у деда в доме, приходил к его внукам по своим ребячьим делам. Но дед был суров и, казалось, не замечал меня. С внуками своими он был суров необычайно, кричал на них, замахивался посохом, но никого никогда не бил. Он всегда был занят плетением корзин, иногда уходил в лес за прутьями, либо с лукошком собственного изготовления, дымя трубкой, медленно, но споро шел за грибами или ягодами.

Иногда нападала на деда какая-то хворь. Он по несколько дней лежал на кровати, не курил, вставал лишь попить воды или выйти во двор. Тогда он был зол, даже свиреп, иногда, не обращая на нас никакого внимания, проходил мимо в горницу и, став на колени перед иконами, долго молился, сгорбив свою могучую спину, отбивая бесчисленные поклоны перед образами. Мы тогда или уходили из дома, иногда наблюдая за ним в окно, или замолкали, слушая его шепот, так и не выяснив, что за разговор с Богом ведет Гаврилыч. Кончив молиться, дед опять валился на лежанку и смотрел в потолок молча и отрешенно. Клочковатая его борода торчала неподвижно. В такие дни его старуха Алена старалась чаще бывать у соседей, а внуки по дому ходили на цыпочках, хотя это было отчаянные парнишки.

Поговаривали, что у деда к смерти была припасена крепкая домовина, которая была им изготовлена собственноручно и хранилась не то на чердаке, не то в сарае. Говорили в деревне, что Гаврилыч был еще набожнее, был уравновешен и даже кроток, суровость и хворь приобрел он после смерти любимой дочери Аглаи. А следом – смерть сына Ивана совсем вышибла старика из колеи жизни. Тогда же, будто, сразу после похорон дяди Вани сработал он для себя крепкую домовину и стал ждать своей смерти. Но смерть не то забыла про Гаврилыча, не то не хотела к нему идти. Так это или не так, но молва шла, что это именно так, и что Гаврилыч в молитвах просит у Бога для себя смерти.

Шло время. И вот газеты принесли в деревню весть, что совершил в космос полет молодой летчик Юрий Гагарин. Мы тогда еще не знали, что это значит. Слетал первым наш летчик туда, где еще никто не был, и это – очень хорошо. Так понимали люди, гордились этим. Двенадцатое апреля этого года было и вправду праздничным и светлым, сибирская весна только вступала в свои права, и солнце грело тепло и светло, как знаменитая гагаринская улыбка. У Гаврилыча тогда был день депрессии, но, кажется, он знал о случившемся. В тот день мне случилось быть у деда. Старик лежал неподвижно и, казалось, не дышал. Вдруг он сел, закричал и обратился к старшему из внуков: «Тольке, а Тольке, подай газету, что я надысь принес!» Расторопный Толька мигом вручил деду газету. Гаврилыч, всматриваясь в портрет Гагарина на первой странице газеты, спросил: «Как, говоришь, летчика-то кличут?» - «Юрой, Юрием зовут», - поторопился с ответом лобастый Толька. Деду что-то не понравилось в ответе: «Зовут зовуткой, сами знаем-то». Мы притихли. Мальчики потянули меня за рукав в горницу, но нам там не игралось. Было слышно, как Гаврилыч лег на лежанку, как время от времени шелестела газета, и Гаврилыч не то шептал что-то, не то читал газету. Затем какое-то время не было ничего слышно, и вдруг сдавленный голос старика: «Сын-н-на, Вань-тя-я-я!» Мы и совсем замерли. Но новый с надрывом протяжный стон-воплъ поднял нас на ноги: «Ванюха-а-а!» Мы молча уставились друг на друга. Хлопнула дверь. Мы бросились в переднюю. Гаврилыча на лежанке не было. Аккуратно сложенная газета лежала на подушке. С портрета улыбался Гагарин.

Вдруг со двора послышались крики, удары чем-то тяжелым и хруст ломаемого дерева. Мы бросились во двор. Там старик тяжелым колуном крушил березовый гроб, крепкий, добротнo сработанный им для себя несколько лет назад. Борода растрепалась, волосатый рот раскрыт, глаза безумные. Мы отпрянули назад, следом за нами откуда-то с воплем кинулась к иконам старуха: «Не дам, супостат!» - кричала она, а следом за ней с матерщиной вконец расвирепевший и растрепанный Гаврилыч. Мы бросились из дома вон, откуда слышались отчаянные вопли старухи, перепрыгивая в ограде через обломки гроба.

Через несколько дней, узнав, что в деревне ничего не произошло, я вновь пошел к дедовым внукам. Опасливо переступил порог, поздоровался, снял шапку. Вся семья – дед, бабушка,

внуки – сидела за столом. На столе самовар, всякая стряпня, которой на всю деревню славилась Алена. Мирно и дружно пьют чай, едят пироги. Зовут к столу меня. Дед лицом светел, причесан, большая борода подрезана по краям. Глаза молодые и лукавые. Бос, седые волосы перехвачены ремешком вокруг головы. Большими узловатыми пальцами подвигает мне стакан с чаем, смотрит на меня и, кажется, подмигивает: «Не дрейфь». Осмелел я, Гаврилыч следом протягивает мне пирог с клюквой добро и душевно. Следом бабушка Алена пододвигает мне тарелку с бубликами и сахарницу. Я смущаюсь от такого внимания, молча пью чай. Смотрю в горницу. Иконы на месте, только на самой большой нет стекла, а что она была застеклена, точно знаю. После чая Гаврилыч откуда-то из-за икон достал небольшую новую книжицу. Протянул мне и приказал: «Чти!» Что я был лучший грамотей среди сверстников, Гаврилыч знал. Я взял книжицу, положил себе на колени и, водя пальцем, медленно, но уверенно прочел: «Инструкция к радиоприемнику «Новь». «Молодец, - хвалит меня дед, - чти дальше». Боясь сбиться, читаю дальше. Дед подбадривает меня, хвалит, все слушают. Осилил инструкцию. Старик показывает на картонную коробку в углу и говорит: «Скоро слушать будем!» На небольшой картонной коробке крупными буквами написано «Радиоприемник «Новь».

Через несколько дней над домом старика появилась растянутая на двух длинных шестах радиоантенна. Захожу в дом. Парнишки чинно сидят рядком на скамейке, в комнате какой-то треск, писк, пощелкивание, над столом склонился Гаврилыч, чем-то занят, копошится, и вдруг раздается музыка. Дед разгибается, разглаживает бороду. Слушаем музыку, которая льется из небольшого черного цвета ящичка с желто-золотой полосой вдоль передней стеночки. Читаю поверх нее: «Новь». Озираю всех. Старик теперь передвигается без посоха, выцветшая рубаша так же перепоясана пояском, чисто выстирана. Оглядываю горницу. На коробке с батареями питания внаклон стоят рядом две фотографии. Первую узнаю сразу – дядя Ваня, вторую тоже узнаю по улыбке – Гагарин, вырезка из газеты, подклеенная на картонку. Оба молодые, оба в военной форме.

Прошли годы. Выросли дедовы внуки, разъехались. Сначала умерла бабушка Алена. Старик, несмотря на уговоры дочери Варвары переселиться к ней, долгое время жил в своем доме. Стал взрослым и я. Теперь уже и деревни нет – объявили почему-то «неперспективной». Нет уже и моих родителей. Но тянет в родные места. Выкроив немного времени, я езжу туда, сижу на берегу реки, думаю. Вспоминаю маму, отца, сестренку, сверстников, соседей и, конечно, Гаврилыча. Представляю его то плетущим свои корзины, то лихо, не по-стариковски, косящим траву. Молод он был в любой работе, мелькает его борода-веник сквозь густую высокую траву, а вот бредет Гаврилыч босой по росе, сгорбившись, с посохом в одной руке и корзиной в другой в лес ранним утром. Солнце едва просматривает сквозь густой утренний туман, играет на росистой траве, красит в розовое его могучую бороду, сутулую фигуру. Или вспоминается опять Гаврилыч, плетущий корзину, и с болью в голосе не то нам, ребятам, не то себе говорящий: «Ноне-то непорядок в лесу. Городня (городские) грибовницу (грибницу) рушат, пупята грибные с ноготь гребут. А как же? Тоже в корзину. Клюкву, так ишшо зеленую хапают, какой с такой прок, боле вытопчут».

Помолчав, посопев потухшей трубкой, продолжает: «Али (или) вот ишшо, понаедут по осени тут всякие с ружьями, лупят всякую дичину без разбору, обвешаются, да идет перед миром героем, не стыдно ему, что половина птиц ишшо голопузы, бракодеры (браконьеры), волки, язви их... А он на моциклете, да на легковушке, да на лодке с ружжом. Как от него убежишь, куда начальство смотрит... Я бы ружжа-то поотбирал, да и топором бы не давал баловать. Гляко-ся, вон энти-то, что у магазина водку хлещут, теребень вонючая, как только земля таких носит, прости мою душу грешную, и за руль с пьяными гляделками... Понарубили с жадности берез на пару машин, а одну надыть, заехали в молодняк, подавили сколько... Тьфу!» - смачно плюет Гаврилыч, вынув изо рта трубку. В безнадежной горести машет старикан рукой в сторону деревенского магазина, где действительно у реки стоит груженная бревнами

автомашина, а у самой воды шофер-горожанин с двумя товарищами пьют прямо из бутылки, шумно закусывают.

«Им-то чо, напакостят – и в город, а завтра чо? Половину бревен бросили - напилили толстых, а грузить тяжело, давай пилить тоньше, а эти кому? Сгниют таперича, а имя-то – хоть трава не расти...»

Мне кажется, что Гаврилыч вот-вот заплачет. Но Гаврилыч не плачет, но во взгляде, во всем выражении лица – такое горе! Далее он для нас, или, опять же, для себя, ведает, как его тятя, Гаврил Ерофеич, «поучил его малость» в детстве – обломал об него грабли за то, что он не догадался обкосить гнездо перепелки, а потом ради любопытства взял да разбил одно яйцо. Вздыхает Гаврилыч, смотрит куда-то поверх наших ребячьих голов затуманенным своим взглядом, то ли в небеса, то ли в здешние дали, в поля и леса, где это все происходило давным-давно. Мы молчим. Мне жалко Гаврилыча...

Еще несколько лет назад, когда я приезжал в родную деревню, отживавшую свой век без поддержки и заботы, заходил в гости к дочери Гаврилыча, тоже уже старушке. Сообщила она, что Гаврилыч умер десяток лет назад на сто шестом году жизни. До самой смерти был в добром сознании, плел корзины, ходил в лес за грибами-ягодами и целебными травами, лихо парился в баньке и после парилки с блаженством валялся на снегу. Силы и разум как-то покинули его одновременно, но перед этим попросил для себя жарко истопить баньку. Оттуда пришел распаренный, помолодевший, довольный, но с разумом пятилетнего ребенка. Переодетый по его просьбе во все чистое, помолился, но молился молча, с выражением на лице человека что-то очень важное позабывшего и пытающегося вспомнить. Но старческое сознание, вдруг упавшее до уровня разума пятилетнего ребенка, не позволяло ему вернуть тот драгоценный бисер словес молитвы, нанизанный на суровую нитку разума. Из всего этого нашелся всего лишь коротенький обрывок той ниточки с последним словом молитвы. «Аминь!» - произнес удивленно-радостно Гаврилыч с просветленным лицом, трижды осенив себя крестом. С тем и покинул этот мир добрый старик, унося с собой печали и редкие радости из прожитого, и, наверное, заботу о всех нас, оставшихся на грешной земле...

Старушка показала мне иконы, что взяла в доме старика после смерти. Одну из них, большую, я сразу же узнал, она была в окладе из бумажных цветов, но теперь опять под стеклом. Потемневший ликом Бог смотрел на меня сурово, но, кажется, мы узнали друг друга. Подозреваю, что у Гаврилыча иногда с Богом отношения были натянутыми. До сих пор мне хочется узнать, о чем же старик так подолгу разговаривал с ним, о чем просил его, и за что хотел разбить икону в тот весенний день, когда он с таким ожесточением разбил в щепы гроб, припасенный для себя, перестал тогда носить нательный крестик, а портреты Гагарина и искалеченного на войне, оттого и рано умершего, сына поставил рядом. Но молчал Бог, не хотел раскрывать своих сложных отношений со стариком, прощающее смотрел на меня, помня разгневанного Гаврилыча, старого русского человека, который сквозь дымку прошедших лет до сих пор мне кажется могучим и мудрым богом.

Август 1985 г.

УРОК ДЛЯ ВОРА

Однажды сестренка принесла от подруги крохотного котеночка. Сначала он едва мог лакать молоко из блюдца, но потихоньку стал расти, и оказался очень озорным и веселым. Забаву он себе находил во всем: в клубочке пряжи, мячике, бумажке, соломинке. Когда он подрос, я стал брать его с собой на рыбалку. Сначала к рыбной ловле он не проявлял должного внимания, но когда усвоил вкус свежей, только что снятой с крючка, рыбы, стал заядлым рыболовом. Достаточно было сказать: «Антон, пойдем на рыбалку». Он тут же вставал с лежанки, потягивался, щурил зеленые глаза и степенно шел за мной к реке. Потом, когда он превратился в здорового кота, он уже без приглашения шел за мной на рыбалку. Теперь он

уже не ожидал приглашения отведать свежей рыбки. Едва только поплавок начинал дрожать, кот начинал нетерпеливо облизываться, не сводя с него глаз, он – весь внимание. Как только вытащишь рыбешку на берег, он тут же, подпрыгнув, самым нахальным образом срывал ее с крючка, и был таков с добычей, шмыгнув по-воровски в заросли крапивы под берегом, откуда потом слышалось чавканье да урчание.

Расправившись с рыбой, он, понимая, что все же виноват, осторожно выглядывал из крапивы, тихонько и жалобно начинал мяукать, как бы выпрашивая прощения. Если очередная рыба на берегу срывалась с крючка, и если ты приподнимал ее на удочке над берегом недостаточно высоко, то все повторялось. Наконец, мое терпение лопнуло. Как-то я вытащил на берег хорошего карася, и он сорвался возле самой кошачьей морды. Все повторилось, как всегда, только на этот раз после трапезы из крапивы кот не выглянул, а предпочел удалиться домой, где я нашел его уже дремавшим с туго набитым животом.

После этого у Антона рыбацкий азарт несколько поостыл. Но, как видимо, по своей натуре кот был разбойником, и вскорости с ним произошла довольно неприятная история.

В крутом глинистом берегу реки, недалеко от места рыбалки, жили стрижи, весь берег испещрен их норками. В одну из наших рыбалок, когда рыба совсем не клевала, коту надоело ждать, и отправился усатый к обрыву, там, кажется, он совершил какое-то черное дело, скорее всего, выгреб лапой гнездо с птенцами. Об этом можно было только судить, но я видел, как бросился Антон со всех ног к спасительным зарослям крапивы, преследуемый десятком юрких стрижей, а из крапивы он уже не высунулся. Покружив и попищав в отчаянии, птицы улетели. Домой кот вернулся только к вечеру, нисколько не испытывая угрызений совести, терся у ног матери, цедившей молоко. Ласковый и вежливый – сама невинность.

Но в следующий раз коту не повезло. Придя на рыбалку, я сразу увидел, что крапивику кто-то скопил. Не клевало. Антон, не дождавшись рыбешки, тяжело ведь ждать неизвестно чего, когда нашелся другой промысел, тихонечко ушел к обрыву, где раньше он разорял стрижей.

Я услышал в птичьей городке переполох, сначала не очень громкий – сначала птиц было мало. Оглянувшись, я увидел то, что и предполагал: усатый разбойник, чувствуя свою безнаказанность, нахально шарил лапой в ближайшей пещерке. На писк и атаки двух-трех птиц он только крутил усатой мордой, но грабежа не прекращал – мол, клюйте, клюйте, не очень-то и больно. Но вот количество стрижей увеличилось сразу раз в десять. Рядом были другие колонии птиц, и тут уж разбойному коту стало не до шуток. Он попробовал отмахнуться когтистой лапой, да не тут-то было. Стрижи дружно налетали, другие пикировали свысока, удары сыпались градом. Взыв от боли и подняв хвост трубой, он кинулся к спасительной крапиве, а крапива-то – скошена. Не поняв, в чем дело, он сделал несколько кругов в поисках убежища. Но тщетно, берег был ровный, крапива скошена, а стрижи тучей гонялись за ним, нанося меткие удары.

В отчаянии кот упал на спину, пробуя защититься лапами, но очередная атака птиц вынудила искать убежища у моих ног. Но я был зол на него, и не стал защищать грабителя. Спихнул его ногой в реку на мелководье. Обезумев, выпучив глаза, шипя и отфыркиваясь, усатый из всех сил загреб к берегу. Быстрое течение мешало ему. Стрижи и здесь не оставляли его в покое – били в голову, в нос, в глаза, в спину. В этом положении кот был беззащитен. И подделом разбойнику! Выскочив на берег, он со всех ног бросился к дому, сопровождаемый тучей птиц, к стрижам примкнули какие-то птицы покрупнее.

Только на следующий день я увидел Антона. Он с опаской влез в форточку, какой-то помятый, на носу ссадина. Я пожалел проказника, налил в его плошку молока. Но он не сразу кинулся лакать, как это было всегда. С каким-то недоверием он посмотрел на меня, судя по его глазам, он был голоден, но лакать не торопился. И только когда я ласково сказал: «Кушай, Антоша», тот жалобно мяукнул и начал жадно лакать.

Прошло несколько дней, я собрался на рыбалку. Позвал Антона, тот охотно зашагал за мной, но, дойдя до реки, стал озиаться, сел на траву, и... ни с места. Я ласково позвал усатого: «Кис-кис». Но тот смотрел на меня зелеными глазами, жалобно мяукал и не шел за мной, словно хотел сказать: «Понимаешь, нельзя мне туда».

Сентябрь 1986 г.

ЛЕТО МОЛОДОЕ

Митрича я застал на конюшне седлающим понурую, неопределенной масти низкорослую лошадку. Доброе лицо его при виде меня расплылось в широкой улыбке, прокуренные, с проседью, усы приветливо затопорщились.

- Го! А я-то думаю, с кем бы съездить на луговину, один, язви ты, слова молвить некому, с ними вон говорю, - кивает на понурую лошадку, сует мне в руки поводья и резво исчезает в конюшне.

Медленно соображаю, зачем исчез Митрич. Понурая лошадка время от времени переступает ногами, я осматриваю территорию конюшни. Июнь принарядил землю как мог. Цветут в большом количестве желтым цветом одуванчики. Молодой лесок возле конюшни и сторожки покрылся ярко-зеленой дымкой, становящейся с каждым днем все сочнее и гуще. Надо мной, у конюшни, старая береза с клочками конской шерсти на стволе зазеленела, примолодилась, развесила зеленые тоже сережки среди молодых зеленых листочков; веточки близко, и я отчетливо вижу каждый – такой новенький, пахучий и клейкий. Слышно рядом кукушку. Кругом зелено, нарядно. Оттого на душе уютно и празднично-спокойно.

- Чо, на красоты глазеешь?! – зычный голос Митрича выводит меня из раздумий, - а я вот тебе молодку привел, с сыночком-то!

Я оборачиваюсь. Опять передо мной широкая, чуть с лукавинкой, улыбка Митрича. Он протягивает мне еще один повод. Я недоуменно гляжу на него, и только тогда замечаю за ним рослую, в серых яблоках, красивую лошадь. Беру повод из рук конюха, другой – с понурой лошадкой – Митрич выдергивает из моих рук. Великолепная серая кобыла, оказавшаяся в моем поводу, уже оседлана. Чуть трогаю повод, лошадь беспокойно косит влажным блестящим глазом, упирается, чуть всхрапывает, задирает вверх изящную серую голову. Митрич успокоительно тпрукает на встревоженную лошадь. Та успокаивается, уже не фыркает, не косит глазом, только чуть вздрагивает. Подтягиваю повод пониже, лошадь покорно склоняет голову. Трогаю чуткие губы и бархатно-нежные ноздри, лошадь опять вздрагивает, но здесь же успокаивается, ласково шевелит губами – ищет в моей ладони угощение. Знакомство состоялось, сластена.

Растерянно соображаю, чем бы угостить красавицу, но в карманах ничего нет – не предвидел я такой встречи. Лошадь нетерпеливо мягкими губами снова исследует мою ладошку, а я так и не нашелся, чем ее угостить.

Вдруг откуда-то из-под земли, замечаю, появляется, о чудо, словно игрушечная, новенькая, будто лакированная, блестящая серая, ну, в точности точная крошечная копия той, что так настойчиво ищет угощение в моей ладони. Маленькие копытца чистенькие, беленькие, передние ножки игрушечной лошади в белых, до колен, чулочках, игрушечный, словно льняной, хвостик, такой чистенький и пушистый – курчавится. Красивая серая головка с лысинкой на лбу смотрит на меня настороженно и в то же время доверчиво, как и все дети – будь то ребенок, щенок или ягненок. Маленькая лошадка легонько переступает, большая, не найдя ничего в моей ладони, обиженно поджала губы. А я все не могу оторвать глаз от этого маленького чуда. Выручил меня Митрич.

- Опять глазеешь, хорош сынок? Пятнадцать ден ему, копия мамани – надо ж так уродиться. На-ко вот, угости красотку.

Гляжу в лукавые глаза Митрича и не замечаю его руки с куском сахара. Тогда он тычет сахаром в бок и зычно кричит: «Опять глазеешь? Ха-ха-ха!»

Я беру увесистый кус колотого сахара, затасканный в кармане Митрича. Лошадь чувствует угощение, суется теплыми ноздрями, находит угощение, благодарно хрустит им. Маленькая лошадка, словно потеряв ко мне интерес, тычется в вымя матери. Но та, хрумкая сахаром, переступает задними ногами, не пускает к сосцам, словно вежливо отказывает – не балуй, мол, всему свое время. Новенькая лошадка то с одной, то с другой стороны – к сосцам, но нет, не достать – большая лошадь переступает то одной задней ногой, то другой. Не дается, тянется ко мне мордой, дохрумкивает сахар, слегка, вежливо, бьет передним копытом о землю, требует еще. Маленькая отошла, стала в сторонке, обиделась.

Теперь вижу, что Митрич уже на своей мышастой лошадке, сидит верхом и во все глаза смотрит на эту сценку, даже рот раскрыл. А на лице, на губах – такая нежная улыбка светится, морщинки светятся, от одного вида его на душе светло становится. Я спохватываюсь и, подражая самому Митричу, громко кричу: «Что глазеешь?!»

- А ты глянь-ко, глянь, сколь смотрю, никак не надоест. Глянь, обиделся-то как, ха-а-рош сынок! И маманя-то хар-раша! Не балует больно-то! Поехали! Что глазеешь! Ха-ха-ха! Вот я тебя-то и подловил, опять глазеешь! Н-но! – тронул поводья Митрич.

Я неумело, тяжело плюхаюсь в седло, моя лошадь сразу же трогается следом за мышастой митричевой лошадкой. Едем с Митричем уже через минуту бок о бок, моя серая красавица оказалась очень ходкой на рысях. Серая новенькая лошадка сначала нехотя бежала за нами, но, когда мы выехали за березовую околицу на зеленую лужайку, с пронзительным ржаньем стала пулей носиться взад и вперед, беспокоя мою лошадь. Митрич быстрее пустил свою лошадку, затрусил впереди, не оглядываясь. Я ослабил поводья, и моя серая, потерявшая из виду свое чадо, умчавшееся вперед, мигом вымахнула на приречную гриву. Здесь, под гривой, на лужайке, сильно притесненной не отхлынувшим еще половодьем, у самой реки паслись лошади – десятка два кобыл с жеребятами самой различной масти, от черно-гнедой до белых и пестрых. Подъехавший за мною Митрич с гордостью произнес: «Вот они, родимые», и принялся пересчитывать лошадей, взрослых и жеребят.

Прибежавший с нами стригунок как угорелый носился уже среди табунка, баламутя жеребят, беспокоя взрослых лошадей.

- Первой их видит, - поясняет Митрич, опять светлея взглядом.

Вдруг от табунка отделился крупный гнедой масти конь, на широкой рыси приблизился к нам, обежал вокруг нас в отдалении. Наши лошади забеспокоились. Моя серая призывно заржала, а митричева захрапела, попятилась. Гнедой в одно мгновение оказался возле, не сбавляя ходу, резко отвернул, явно заходя на новый круг. Мелькнула оскаленная лошадиная морда, налитый яростью глаз. Митрич, обычно невозмутимый, вдруг заорал:

- Пш-шел, Чертик, н-не балуй! П-пошел вон!

Гнедой, вновь было развернувшийся к нам, вдруг стал, как вкопанный, замер на мгновение, развернулся и зарысился к переставшим пастись лошадям.

Митрич слез с лошади, начал путать ее волосняным путом, я последовал его примеру. Митрич, путая свою лошадь, беспокойно поглядывал в сторону табунка. Лошади успокоились, и наши, и в табунке, только гнедой конь, высоко подняв голову, все еще косился в нашу сторону, да наш стригунок все еще носился среди жеребят, одурев от привольной благодати.

- Че-е-ерт, шалапут, жеребец, - ругательно мямлил Митрич, вытирая о штаны руки, явно волнуясь, - стережет жеребят хорошо, Чертик, - теперь уже с восхищением и ласково.

- Пасет хорошо, да что у него на уме – опять же, один черт и знает, - прикуривая с дрожащими руками, говорит Митрич.

Потом я узнал, что жеребца за буйный нрав кличут Чертиком. По всему Митричу, хорошо знавшему повадки лошадей, можно было судить, что Чертика есть за что серьезно опасаться.

Отпустили пастись спутанных лошадей. Расположившись под одинокой раскидистой березой. Молча лежим, уставившись в небо. Ни тучки, ни облачка. Повернувшись, падаю носом в молодую траву. Пахнет парной землей, перебивает запахом молодой травы. Прямо передо мной ползет божья коровка, на меня невольно накатывают воспоминания о детстве, деревне, где я родился, рос. Вдыхаю жадно еще раз-другой запахи земли. Божья коровка уже ползет по моему виску, щекочет лапками, пофыркивают наши стреноженные лошади, грызут коротенькую сладкую травку. Чуть шелестит клейкими молодыми листочками старая береза, где-то высоко раздается такое знакомое «Ки-ли, ки-ли, ки-ли». Вспоминаю, кому это может принадлежать, но почему-то мои потуги вспомнить одно перебивает совсем другая мысль – а как это листочки на березе друг к другу не приклеиваются? И тут Митрич толкает меня в бок:

- Глянь-ка!

Переворачиваюсь лицом к небу, жмурюсь от света. Митрич рядом смотрит вверх, показывает пальцем:

- Глянь!

Высоко, очень высоко различаю крошечную, быстро машущую крыльями на одном месте, птицу. Вот она чуть снизилась, немного пролетела и вновь зависла на одном месте, часто машет крыльями. «Ки-ли, ки-ли, ки-ли», - доносится до меня.

- Кобчик, - говорю я.

- Кобчик, - соглашается мой приятель. – Думал, скажешь – жаворонок, не совсем еще отвык от деревни, - не то с огорчением, не то с удивлением произносит он.

- Мои вон тоже подались в город, а чо там хорошего, скажи?

Я молчу, не знаю, что и ответить на этот не раз уже заданный Митричем вопрос. Митрич, зная, что я на этот вопрос отвечу не скоро, опять смотрит вверх, на птицу:

- Крылышками играет, солнышко дразнит.

Теперь я удивленно смотрю на Митрича – фраза-то больно знакомая, тоже из детства, так мы говорили при виде зависшего ястребка. Замечаю Митричу, что это – хищник. На это он ответил, что от всякой живности польза. Я молча с ним соглашаюсь и перевожу разговор на лошадей. Митрич заметно теплеет при разговоре о лошадях. А я, пользуясь его расположением, интересуюсь, отчего в табунке такие разные по масти лошади. С удивлением узнаю, что Митрич специально ездит по окрестным хозяйствам и вынуждает своего председателя колхоза приобрести или выменять лошадь понравившейся ему масти.

Верю, что мой приятель не помешан на них, а любит, очень любит этих умных животных, и они тоже любят его, иначе разве остановился бы сейчас этот несшийся на нас чертом гневной Чертик...

Вечером Митрич приглашает меня в свою баньку. Банька из ядреных березовых бревен, рубленая руками моего приятеля, стояла у реки за огородом. Предбанник выстлан свежей ржаной соломой. Хозяин первым входит в круто истопленную баньку, садится на чисто вымытую скамью и, уже раздетый, минутку-другую сидит молча, как бы соображая, с чего начать. Я сажусь напротив на такую же чистую скамейку, оглядываюсь.

Чуть мерцает над нами маломощная лампочка. Митрич тем временем в тазу залил крутым кипятком два сухих березовых веничка. Переворачивает их, распаривает. Потом, зачерпнув ковш горячей воды, долго примеряет, как его выплеснуть на раскаленные камни. Всю работу он делает не спеша, основательно, словно колдуя или растягивая удовольствие. Наконец, Митрич плещет на раскаленные камни.

Ухнуло, ударило жаром, тусклая лампочка под потолком закачалась. Стало и вовсе сумеречно. Митрич откуда-то из горячей мглы сует мне распаренный веник, в другой его руке угадываю второй. Наугад беру предназначенный мне веник, а Митрич кричит, заглушая второй взрыв на каменке от новой порции из ковша:

- Опять глазеешь! Ха-ха-ха!

От жара, от тусклого света в баньке, от клубов пара мне кажется, что это хохочет сам леший. Этот же леший стегает меня из горячей мглы распаренным веником, толкает к полу из четырех высоких ступеней, ведущих куда-то к потолку, в невыносимую жару, может быть, и в самую преисподнюю. Я мигом оказываюсь на самой верхней ступеньке, леший же, Митрич, садится где-то рядом. С минуту молчим. Потом Митрич начинает «пробовать веник». Сначала легонько и реденько машет веником, нагоняя на себя пар, затем все чаще и чаще, потяжелее. Я тоже «пробую веник». Блаженное тепло разливается по телу, и оно уже требует веника, от его прикосновения начинает приятно зудиться. Сухой жар с запахом березы, теперь уже почти прозрачный, блаженно туманит разум и сушит ноздри, скручивает волосы и кончики ушей. Митрич теперь не кряхтит под веником – постанывает. А вот он замолк. Звякнул о бачок ковш, булькнула вода, и за всем этим опять ухнуло на каменке, рвануло.

- Дер-р-р-жи! – раскатисто орет леший, и новая волна жара сбрасывает меня на пол с полога. Вскакиваю в предбанник, падаю на солому, а хозяин во все порет себя веником, шлепается, ухает, постанывает, но недолго. Вот дверь распахивается, он появляется в клубах пара, в березовых листьях, распаренный и усталый, валится рядом на солому и виновато выдавливает из себя:

- Че-е-рт, переборщил, не те уж времена, да еще на первый заход. Не те времена...

Нашаривает в солому кринку с квасом из березового сока, сначала предлагает мне, затем долго пьет сам.

Я ухожу в баньку на новый заход, и там вволю даю погулять по себе венику, возвращаюсь. Теперь уже Митрич поглядывает на меня с уважением. Это, мол, по-нашенски. Уходит в баньку на следующий заход. Все повторяется: льет на каменку – поддает, «пробует веник», кряхтит от удовольствия, порет себя веником, постанывает, покрывает, звякает ковш, опять поддает и шлепается, стегается веником до изнеможения. Наконец, совсем обессиленный, он рядом падает на солому, а я ухожу на другой заход...

Потом молча сидим в открытом на реку предбаннике, смотрим на бегущую половодную серую волну реки, только недавно освободившую часть огорода у Митрича. В распахнутую дверь на нас, разгоряченных и приятно уставших, течет живительная прохлада и сырость. У реки наполовину затопленная верба. Цветет серебристо-желтым цветом – словно пушистые утята разбежались по веточкам. Молчим.

Замечаю под правой лопаткой Митрича глубокий шрам.

- Крупного калибра, с самолета, - нехотя поясняет он, когда я, может, и не тактично, слегка провожу пальцем по зарубцевавшейся ране. – После войны годков пять еще кровью отхаркивал.

Я знаю, что у Митрича два ордена за войну, но за что они получены, спросить не решаюсь, хотя и давнишняя дружба у нас с ним по-соседски, не любит вспоминать про войну. В предпоследний год войны семнадцатилетним ушел он на фронт, хлебнул лиха, был разведчиком и дважды был тяжело ранен. И сейчас, словно угадав мои мысли, машет рукой:

- Ну ее, лето вот, молодое!

Митрич делает шаг, смотрит на догорающий закат из двери предбанника.

- Потому вот, значит, при лошадях состою. Сначала, когда был вчистую... значит... Окле-мался малость, за скотом ходил. Потом пахал-боронил, а сейчас вот опять при лошадаках. С ними можно – они-то скотинка с понятием и с душой.

Посвежевшее, доброе лицо моего старого приятеля становится еще светлее, безмятежнее, добрее. А может, это игра последнего лучика закатающего солнышка – приходит в голову мысль.

Митрич одевается, чуть сторонится этого последнего лучика, потому что тот слепит глаза. Уже одетый, в калошах на босу ногу, вешает на шею полотенце. Теплый лучик опять на лице приятеля, но оно неожиданно потеряло свою безмятежность.

- Час бы чо не жить, без войны, - но совсем в другом тоне произносит, - но скажи, пошто так живем? И Мишка вон ранение с орденом имеет, а... - огорченно машет рукой, уже повернувшись – пошли, мол.

- Мишка, Мишка? Да ведь это сын Митричевой племянницы. Служил в Чечне, - вспомнил я наконец, тихонько шагая по огороду за приятелем.

А он уже весел и доволен:

- Лето молодое, зеленое! Благодать! Жизнь, она всегда молодая... На возраст не смотрит...

Март 1986 г.

В РОЛИ РЫБОЛОВА

В тот год мне так и не удалось добыть лисицу, несмотря на все мои ухищрения – ставил капканы с приманкой из косача и курицы, подкрадывался к мышкующим лисицам, сидел в засадах, приманивал зверя манком под мышинный писк. Все было бесполезно. Теперь, спустя полтора десятка лет, мне понятно, почему – было много азарта и неуместного желания добыть хитрого зверя, но не было опыта, выдержки, не было хорошего ружья.

Лисиц в те годы было много, они спокойно мышковали у лесных дорог и у автомобильных трасс с оживленным движением, не обращали ни на кого внимания, пешехода в открытую спокойно подпускали к себе метров до ста. Мне надоело ползком подкрадываться по глубокому снегу, мерзнуть в бесполезных засадах, нахально гоняться за лисицами, которые, видя свою недосыгаемость, иногда меня дерзко облаивали, перетаскивать с места на место капканы и менять приманки в них. Тогда я стал присматриваться к зверю, читать следы его, знакомиться с его повадками. С удивлением я обнаруживал, что каждая лисица имеет строго определенную территорию охоты, которую ревностно охраняет от соплеменников – кусает, облаивает, изгоняет, как подкрадывается к спящим в снегу куропаткам. По следу было видно, как кралась она ползком, затем стремительно прыгнула на лунку с ночующей птицей. Примятый снег с каплями крови и перья говорили, что охота была удачной. С косачом лисице сложнее – косач бдительнее, проворнее. Проверяет лисица и расставленные на зайцев петли. С нерасторопным охотником добычей не делится. Приходилось видеть по следам, как вертелась кумушка вокруг да около петли с попавшим зайчишкой. Выходила вокруг, высмотрела, и остались от добычи лишь клочки заячьей шкурки да ушки – это охотнику.

Капканы мои с приманкой из косача, запорошенные свежим снегом, лисицы обходили уверенно, не кружа вокруг, не возвращаясь, а только чуть потоптавшись на месте. Только один раз, по следу тоже, определил, что наступила лисица на язычок капкана, но не сработал он – заledenел снег под язычком и не провалился, спас зверя, дал поживиться приманкой. Но самое необычное – два зверя рядом обнюхивали снег, ползали, крутились, вертелись на замерзшей Иче. Стоял декабрь, гона у лисиц еще не было, а как мне известно, сообща этот зверь не охотится на одной территории, а соперника изгоняет. Как я ни осторожничал, подкрасться к ним не удалось. Звери меня учуяли и разбежались по руслу реки в разные стороны. Я скатился на лыжах с берега и осмотрел место, ничего необычного не обнаружив.

Через некоторое время я, умаявшись долгой ходьбой по снежному лесу, едва волоча ноги, на широких лыжах приблизился в этом же месте к руслу реки. Неожиданно из-под горки на противоположный берег выскочила лисица. Я присел, снимая ружье с плеча, и вдруг прямо передо мной из-под моего берега показалась другая лисья морда с небольшой щучкой в зубах. Ружья снять я еще не успел, и мы какое-то мгновение смотрели друг на друга – все было так неожиданно. Еще мгновение, и лисица исчезла под берегом. Я кинулся к заснеженной реке. Первая лисица убегала по полю на противоположном берегу, вторая, с рыбиной в зубах, - по руслу реки вправо. Выстрел вдогонку из моего плохонького ружьишка был лишь салютом находчивому зверю.

На реке, где когда-то звери так усердно обнюхивали снег, зияла широкая полынья. Я был очень удивлен – это было самое мелкое место в наших окрестностях, перекат, и по всей логике, оно должно было замерзнуть в первые же морозы. Но мягкая зима с обильными снегопадами не смогла справиться с беспокойной водой на перекате. А когда уровень в реке упал, едва схватившийся под толстой снеговой периной ледок обвалился и ушел под лед вместе со снегом. Вода дымилась на морозце, журчала, глубина была не более десяти сантиметров. Время от времени по течению в задыхающейся воде проскакивали рыбешки покрупнее, мелочь же кишела вокруг полыньи – вода здесь была богаче кислородом.

Вокруг полыньи снег был истоптан лисьими следами. Пока я наблюдал, показалась одна щурагайка, но та быстренько скрылась подо льдом. Между водой и льдом было пространство около двадцати сантиметров. Лапой со льда лисица схватить рыбу никак не могла. Остается только одно – прыгивали лисицы в полынью на мелководе, и хватали рыбу зубами. Но все это только предположение, ведь нигде не написано, что лиса занимается рыбалкой, а рыбу-то, прикрытую рогожей, мужики в саях на Руси теперь не перевозят.

Март 1986 г.

ПЕРВАЯ ДОБЫЧА

Была одиннадцатая весна моего детства. Обыкновенная деревенская весна с лужами и ручьями, веселой лаптой на первых проталинах, когда, сбросив нелегкую обувь, носились мы, ребята, в азарте этой великолепной игры, забыв про все на свете – про домашние дела и школьные уроки, пьянея от блеска голубых разливов талых вод, яркого весеннего солнца, голубого густого воздуха, настоящего на талой воде, просыпающихся березовых почках окружающих деревеньку рощ, запахе не сошедшего еще снега и высокого весеннего неба. Носились мы, как жеребята, по едва прогретым проталинам, не чувствуя босыми ногами ни холодящей, еще не оттаявшей, земли, ни колкой сухой прошлогодней травы, вдыхая этот неповторимый по вкусу аромат бодрящего воздуха полной, ставшего от непрерывного быстрого бега, кажется, бездонной грудью.

Но привлекало в природе меня и другое – иногда, взяв с собой кусок хлеба, я уходил в лес на целый весенний день. А в лесу было столько чудес! Лакомился я березовым соком, саранками, зорил вороньи гнезда, наблюдал за просыпающимися муравьями, крался к тетеревиным токам, чтобы полюбоваться на их брачный праздник, подкрадывался к лужам и озерам – наблюдал за утками и куличками различных пород и расцветок. От непрерывного лазания по деревьям и ползания по весенней влажной земле с жесткими прошлогодними травами одежда горела на мне, как на огне – локти и колени мои, живот оголялись моментально, в моих раскисших сапожишках постоянно хлюпало, а руки постоянно покрыты цыпками и ссадинами, которые мне мама после каждого моего прихода из леса мазала сметаной или солидолом.

Но спустя совсем немного времени я заболел другой, совершенно неизлечимой болезнью. В один из моих походов в лес набрел на меня житель нашей деревни дядя Петя. За спиной его торчали ружейные стволы, сбоку на ремешке болталось два подстреленных селезня в роскошном оперении. Его лопоухий Джек, неожиданно увидев меня, уставился желтыми глазами, свирепо накинулся на меня, но, узнав, начал ластиться, виновато виляя хвостом. Дядя Петя и Джек отдохнули со мной у большого муравейника. Дядя Петя вскипятил здесь же в своем котелке чаю, дал рассмотреть добытых им селезней, а потом, совсем расщедрившись, подарил мне одного из них, на прощанье еще дал пальнуть из своей двустволки по березовому пню.

Придя домой, я тут же разыскал в нашей кладовочке старую отцовскую одностволку шестнадцатого калибра, оставшуюся после смерти отца. Нашел кое-какой имевшийся охотничий припас. Тот же дядя Петя, с которым потом вместе охотились, помог зарядить мне два десятка патронов. На охоту далеко ходить не надо было, прямо за огородами на весенних разливах было полно дичи. Кулики и кулички всевозможных размеров и расцветок, чибисы и

утки, гуси и чайки облюбовывали наши по весне разливающиеся луга и болотины. Но добыть что-нибудь при таком разнообразии дичи, даже имея в руках ружье, мне не удавалось. Для меня, не имеющего опыта, это оказалось делом далеко не простым, как казалось ранее.

Я бесчисленное количество раз подкрадывался – и согнувшись, и на четвереньках, и ползком, – к сидящей на разливах всевозможной дичи, пробовал стрелять влет, но успеха не было. Утки и гуси на открытой местности на верный выстрел не подпускали, стрелять же по летящей дичи я вовсе не умел, и мазал самым бессовестным образом даже в самых удобных случаях.

Прошла неделя моей безрезультатной охоты, заряды кончились, колени и локти мои оголялись неимоверно быстрее, чем ранее от моих прогулок по лесу. В погоне за дичью я ежедневно набегал десятки километров, меня не держали ни разлившиеся болотины, ни дремучие буреломы среди глухих колков с непрогретой еще водой. Куда меня, не имеющего ни лодки, ни болотных сапог, беспощадно гнал неимоверно стойкий, ранее неизвестный для меня азарт. По ночам мне снились мои удачные выстрелы, после которых я подбирал богатую добычу, которую по деревне на всеобщую зависть нес домой. Но, увы, это было только во сне. Ноги мои болели от множества пройденных бегом и пешком, ползком и на четвереньках километров, правое плечо мое в кровоподтеках и ссадинах от выстрелов из ружья большого, не для подростка, калибра, зарядами, рассчитанными на полновесный выстрел, болело еще сильнее, но, не смотря ни на что, я каждый день уходил на охоту...

Потом уже дядя Петя, видимо, пожалев меня, убедил, что большие с большими кривыми длинными клювами серые кулики, что часто попадались в наших окрестностях, такая же настоящая добыча. Кулики эти – кроншнепы – были менее осторожны, бродили по мелководью разливов или посуху, и подкрасться, как мне казалось, к ним было легче. Теперь я охотился на них, но домой возвращался, как и прежде, без добычи. Кулики были, конечно, менее осторожны, но не настолько, чтобы мне хоть одного можно было добыть без труда.

Однажды, на исходе дня, я, расстреляв безуспешно в который уж раз патроны, удрученный неудачной охотой, вконец расстроенный, сжимая в ладони последний неизрасходованный патрон, сидел на корточках прямо на мокрой поляне в багряных лучах заходящего солнца. А надо мной, как бы издеваясь, с протяжным криком носилась стая этих серых кривоносых крупных птиц. Дрожащими руками я переломил ружье и вытащил из патронника гильзу, вставил этот последний патрон, и выжидал, когда же можно будет удачно выстрелить в налетающих птиц, хотя на такой выстрел я мало надеялся. Но вот, даже глазам не верю – крупный кроншнеп, отделившись от выющейся надо мной стаи, спланировал почти рядом и опустился в желтую прошлогоднюю траву. Сидевшую в траве серую птицу было трудно разглядеть в скользящих лучах заходящего солнца, к тому же птица не сидела на месте, перебегала время от времени, что-то клевала, но и зорко наблюдала за мной. Поняв, что удачный выстрел зависит только от меня, я сбросил с себя фуражку и хлюпающие сапоги, демаскирующие меня, и с самого начала начал подкрадываться к птице ползком. Иногда она переставала клевать, замирала, зорко поглядывая в мою сторону. Тогда я тоже переставал подползать, птица опять начинала клевать, перебегала по поляне, держа, однако, меня на почтенном расстоянии. Мои колени и локти, живот были уже мокрые, слабо прогретая весенняя земля холодила, в одном месте пришлось переползти на животе лужу, но я, будто бы почуяв удачу, упорно ползком преследовал птицу. Несмотря на холодную землю и мокрую грязную одежду, во рту пересохло, сердце бешено колотилось, мне было жарко.

В одном месте птица вдруг насторожилась, замерла, высоко подняв голову с изогнутым клювом, и я понял – больше ползти нельзя, улетит. Почти не целясь, нажимаю курок и, бросив ружье, бегу сквозь не рассеявшийся еще дымок выстрела к добыче. Хватаю лежащую на боку птицу, она вяло бьет по рукам слабеющим крылом, едва поднимает уже непослушную голову с длинным клювом, из которого рвется уже беззвучный крик. И тут же опустил птицу, ощутив на пальцах теплую, липкую кровь, вытер о свои мокрые штаны руки. Капли крови на

клюве птицы, на перьях и на моих руках в последних, скользящих лучах от наполовину уже зашедшего солнца казались черными. Раскрытый клюв как бы беззвучно кричал мечущимся надо мной потревоженным выстрелом остальным птицам, они кричали тоскливо и протяжно, а круглый глаз мертвой птицы как бы с укором смотрел на меня.

Как-то сразу пропала радость от удачного выстрела и желанной добычи, сменилась непонятным чувством вины, глубокой и осознанной. Уже в сумерках разыскал и одел сброшенные мной сапоги, нашел в лужице ружье с пустой гильзой в стволе, кое-как отжал мокрую куртку, оделся, прихватив ружье и болотную птицу, поплелся домой, чавкая размокшими сапогами. Ощущения радости не было, а вместо нее в горле стоял тяжелый соленый ком.

Много после того я стал опытным охотником по пернатой дичи, но в отличие от других, я всегда добывал не более одной-двух птиц, помня до мельчайших подробностей свою первую удачную охоту.

Апрель 1986 г.

ПО КЛЮКВУ

По осени наша природа бывает щедра на ягоды, грибы, дичь, рыбу. Поэтому очень приятательны в эту пору рямы – эти уникальные островки моховых болот и хвойного леса среди нашей Барабинской лесостепи. Здесь словно попадаешь в иной мир: чистый, до металлического привкуса, воздух, мягкий моховой покров, озера, почти всегда окруженные камышом и соснами. А уж если уродило клюкву или бруснику – этот роскошный подарок для зимнего стола, то это тебе награда за тяжелый путь и настойчивость. Да и чудесные картины дикого раздолья восхищают и помнятся до следующего года.

В начале сентября мы с Вадиным, не найдя больше попутчиков, решили ехать вдвоем. День выдался пасмурный. Наши мотоциклы резво бегут по шоссе. В районе села Сергино осенние тучки закрывают горизонт. Мы попадаем в полосу непривычно холодного дождика. Немного поколебавшись, продолжаем путь. Наконец, северный краешек неба блеснул чистой и холодной голубизной. Тучки откатились на юго-запад, заметно потеплело. Остановились, пытаемся согреться ходьбой на потеплевшем воздухе. Мокрые бушлаты, чуть подсохшие на редких лучиках проглянувшего солнышка, еще холодят. Прибодрившись, оглядываем придорожные леса, где пока что робко проявляет себя рыжая хозяйюшка-осень. Блекнут травы, в околицах пролегли грустные холодные тени. Осина постепенно зажигается яркими красками, но во всем чувствуется, что холодеющие чаши все таят тепло уходящего лета. За лиственным лесом холодной зеленоватой полоской вырисовываются кромки рямов, но наш путь лежит в другие, дальние – более известные своей щедростью. Быстренько заводятся наши моторы и бегут, наматывают километры оставшегося пути.

Возле свертка на Федоровку останавливаемся перекусить. Сидим на корточках у своих мотоциклов, видим бегущие по шоссе автомашины, из них - любопытные лица водителей.

За Федоровкой леса гуще, рокот моторов мягче. В полдень солнце светит во всю осеннюю мочь. С дороги вспархивают несколько куропаток. Лукавые полосатые бурундучки резво юркают с дороги в высокие травы. Наши мотоциклы ныряют по ухабинам – путь к Петровским рямам оказался непростым.

Природа всегда скрывает свои дары, бережет их для более наблюдательных и настойчивых. Прошлогодний, хорошо заметный сверток к ряму мы проскочили, как потом оказалось, хорошо накатанная по болотине к ряму дорога полностью заросла травой.

Вдруг мы уткнулись в тупик, уставленный автотранспортом, в основном, вездеходами, от них отделилась фигура человека, с недоверием посматривающего в нашу сторону. Человек осторожно протянул на мое приветствие руку и опасливо уставился на дремучую бороду Вадины. Его опасения понять можно - последнее время участились случаи хищения на транспорте у ягодников, последние же, уходя за дарами, оставляют сторожей у своих становищ.

Узнаем, что барабинцы живут здесь уже целую неделю, и, поднимаясь на моторке по прокопу в сторону болот, к рямам, собирают по три-четыре ведра клюквы в день на человека. Мы решили остаться здесь, но наш новый знакомый дал понять, что без моторки здесь делать нечего, а на их моторку нам рассчитывать нельзя – самих много.

Немного посидев, поворачиваем назад – искать известный нам сверток к рямам. Здесь же надо сказать, что, подъезжая к рямам в поисках свертка, мы увидели на них жуткое грибовидное облако лесного пожара. В сухое, подобное нынешнему, лето верховой пожар – опасная вещь. Не успеешь и глазом моргнуть, как тебя накроет пеплом и прахом ненасытного пламени. Со стороны и то жутко наблюдать за этой картиной.

Вконец уставшие, мы все же решаемся свернуть вправо, уловив что-то знакомое в местности, но оттуда прямо на нас высоко поднимаются клубы молочно-серого густого дыма. Ветер стих, и мы, явно приуменьшив для себя опасность, решили пойти на клюквенные болота.

Пока перекусили и выбрали место, где лучше разбить лагерь, со стороны болота вынырнула танкетка с «десантом» на борту. Они не то спасались от пожара, не то целенаправленно держали куда-то путь. Компания довольно пестрая, у нескольких мужчин ружья, ведер же что-то не видно. По лицам узнаем своих же, горожан, хотя узнать знакомых довольно трудно – обросшие бородами, они кажутся чужими, одичавшими. Следом за ними из дыма торопливо выползает вездеход-самоделка. Водитель вездехода тоже небрит, лицом черен, одет в какое-то рванье. Он возбужденно кричит нам, указывая на густые клубы дыма:

- Че не идете, клюква там есть?! – звучит откровенно с издевкой. Перебрасываемся несколькими фразами, и они уезжают.

Мы решаемся искать место, знакомое по прошлогодним экспедициям. Сворачиваем, как показалось, на знакомый сверток, как вновь встречаем со стороны леса танкетку, только больше потрепанную. Подумали сначала, что это старые знакомые, однако «десант» другой, но тоже с ружьями, некоторые явно пьяны. Интересно, для чего ружья ягодникам? Этот «десант» с ревом пронесется мимо, ломая березовый молодняк в приямной котловине, в клочья круша торфяник и моховое покрытие, провожая нас недобрыми взглядами.

Мы обнаруживаем чью-то старую стоянку, принимаем ее за свою прошлогоднюю, но тропа от нее рядом же теряется в зарослях высокого камыша – нет, место совершенно незнакомое. Едем назад, в сторону озера Теннис, и вдруг узнаем место свертка. Едем по этому свертку, и сразу же оказываемся на окраине клюквенного болота на месте прошлогоднего становища. Можно понять нашу радость после стольких-то мытарств, а всему виной благодатное лето – травы так затянули сверток, что мы трижды проехали мимо, настойчиво обшаривая глазами каждый куст, каждое дерево, отыскивая нужные приметы свертка. Но Вадин все еще, кажется, не верит, что мы прибыли на место, прежде чем поставить палатку, недоверчиво озирается, недовольно ворчит что-то. Наконец, ставим палатку, разводим костерок. Не удержавшись от соблазна, зашли на моховое болото, где еще чувствуется запах гари.

Сам пожар до клюквенной болотины не дошел, приутих, скорее всего, нарвавшись на озерцо или сырое болотце, потерял свою силу сразу же, как только вырвался из сосняка. Мы вновь возвратились к костру.

Горячий суп, приготовленный недавно на костре, уплетаем с аппетитом. Уже в сумерках, отдохнув и продрогнув, решили сходить к ряму на разведку. Пошли по свежей гусеничной колее. Клюква оказалась обобранной подчистую. Ягоду все же нашли чуть правее – клюква мелковатая, но спелая и много. Решили, что завтра можно брать, и стали уже в темноте выбираться назад.

Мы находились совсем близко от нашей стоянки, и, казалось, никаких проблем выбраться к ней не было. Все испортили гусеничные следы, исполосовавшие болото во множестве и расходившиеся в разные стороны. Особо не раздумывая, пошли по одному из них, что, вероятно, вел туда, откуда пришли. Но шли в сплошной темноте, без намека на выход.

Встревоженные, мы стали переходить на другие, но вскоре поняли, что этак можно и совсем не выйти. Посоветовавшись, свернули по непримятому, в рост человека, камышу в сторону белеющего в темноте березняка, но вскоре пришлось свернуть правее – в темноте среди камышей и кочек мы напоролась на довольно глубокую плесину. К березняку мы вышли много дальше, и нужно было как-то пройти назад, чтобы очутиться возле желанной такой стоянки. Но идти кромкой березняка, заболоченного и заочкаренного, в кромешной тьме не было никакой возможности. И тогда мы решились на невозможное – выйти к стоянке через лесок, нам на первых порах показалось, что здесь идти легче, да и от белых стволов берез было светлее. Но это только казалось – вскоре мы оказались в болотистом лесу, сплошь заваленном буреломом. Вконец измученные дневными мытарствами и ночными блужданиями по рямовой болотине, мы без конца натыкались на пни, проваливались среди кочек, среди высокой травы. Выбившись из сил, остановились. Теперь уже, кажется, мы вовсе не знали, куда двигаться. Нас ожидала ночевка под открытым небом, среди бурелома на зыбкой почве, что под ногами хлюпала водой. Порядочно взмокнув, сняли стеганные бушлаты, но тут же стал пробирать холод – по-видимому, надвигался заморозок. Мы оделись, приготовившись к ночевке в этих условиях, как услышали звук мотора, среди деревьев мелькнули огоньки. Мать честная, да мы по бурелому мимо своего стана вышли на основную дорогу, по которой сюда добирались! Только что по ней в сторону Федоровки проскочил запоздалый «Жигуленок». Уже не веря в благополучную развязку, преодолев немыслимые препятствия в виде бурелома, кочек, бочажин, пней, камыша и кустарника, в темноте выходим на дорогу, пройдя с полкилометра, каким-то чутьем обнаруживаем знакомый сверток к нашему становищу.

У заиндевелой палатки нас ждал остывший котелок с чаем. Подбрасываем дров в тлеющий костер, вспыхивает пламя. Греемся у костра, а со спины уже тянет холодом. В поднятой мной канистре жалобно затенькала замерзающая вода. На траве, на металле мотоциклов иней – пришел первый в здешних местах заморозок.

Дневные дорожные мытарства и четырехчасовое блуждание по болоту дали о себе знать – окончательно обессиленные, мы забираемся в палатку. Однако уснуть сразу не удалось. Рядом с нами слышались осторожные шаги, они то замирали, то возникали вновь. Вероятно, какой-то зверь осторожно рыскал вокруг – хрустели тоненькие веточки, шуршала трава, пахло гарью. Еще казалось, что оживший рямовой пожар осторожно подбирается к месту нашей ночевки...

Разбудил нас резкий крик кедровки. Сквозь брезент палатки пробивались солнечные лучи, чувствовался колющий холод. Вываливаемся из палатки в холодный туман, сквозь который как-то подслеповато светит утреннее солнце. Вода в канистре и котелке схватилась крепким льдом. Готовим на костре завтрак, отогреваемся.

Тут мне показалось, что за нами кто-то наблюдает. За кустарниками угадываем какого-то зверя, тот уже не таится – незлобно гавкнув, к нам выходит рослая белая лайка, знакомая еще с прошлого года. В прошлом году она так же появилась неизвестно откуда, а потом исчезла. Сейчас она опять доверчиво подошла, дала себя погладить, дружелюбно трется, помахивает хвостом. Угостили собаку остатками завтрака, однако лайка с нами к ряму не идет – остается сторожить лагерь.

Пожар, еще бушевавший неподалеку, затих. Доходим до клюквенного болота, берем ягоды. Тишина. Над головой бездонное небо, под ногами мягкая душистая постель из мха, полярной березки, мелкого багульника и еще каких-то мелких мягоньких травок, под которыми особый сорт клюквы – мелкие черные спелые ягоды, сладковатые на вкус. В одном месте вспугнули копылуху. Она бегала по мху, клевала ягоды. Со стороны птица была похожа на диковинного зверя. Заметив нас, она как-то по-бабьи встрепенулась, замахала крыльями, завохтала грудным голосом и тяжело взлетела, нарушив безмолвную тишину рямового царствия. Потом я валяюсь на мягкой, чудесной, такой приятной постели, смотрю в солнечное небо, голубоватое, с холодным оттенком, а на душе так спокойно, и кажется мне, что так будет вечно

– мягко, тепло, спокойно, пахнет вереском, багульником, хвоей, торфом, осенним солнышком и... вчерашней усталостью, от которой легко и приятно поламывает каждую клеточку тела. Но следом же неподалеку зарычала мотором, загремела гусеницами невидимая за рямом танкетка, захлопали выстрелы, и мое безмятежное спокойствие улетучилось. Вадин вслушивается в звуки, обзывает «десантников» вредителями и браконьерами...

В полдень солнце припекло совсем по-летнему, пришлось снять тяжелые бушлаты. Прибавляется ягоды в ведерках. Мы в гостях у матушки-природы, и оттого возвращается спокойствие. Не беда, что не так богата хозяйшка, зато так гостеприимна, чиста и по-царски красива.

К вечеру, вернувшись к палатке, встретили у лагеря все ту же лайку. Пес радостно встречает нас, выплясывая вокруг, но как-то виновато оглядываясь на тропу. Виновато же вертит хвостом-кренделем, мы тоже посматриваем туда и видим: на тропе лежит такая же собака, положив между вытянутых лап голову, смотрит в нашу сторону – стоячие уши, черный нос, черные глаза, без нашего приглашения не подходит, но по первому же нашему зову поднимается и с достоинством, не спеша, подходит, дружелюбно помахивая хвостом. Тоже белая чистопородная лайка – копия нашего знакомого, только поменьше – подружка его. Собаки красивы, деликатны, в меру ласковы, с ними приятно пообщаться, и мы это расцениваем как добрый знак в нашем путешествии.

Котелки наши у костра тщательно вылизаны. Вот спасибо-то! Вадин недовольно ворчит что-то, но собак не прогоняет...

Янтарный теплый день ушел. Умеренно горел костер, унося в черное небо снопики золотых искорок. Заморозок, но уже более мягкий, грозился придти вновь. Получив угощение, собаки задремали возле палатки положив головы между лап.

Следующее утро опять было сковано морозцем. Собаки ночью покинули нас. Интересно, где они живут – в лесу или в деревне? Наскоро позавтракав, решаем, что по клюкву больше не пойдем, по три ведерка уже есть, здесь же клюквенники обобраны начисто. Собираем вещи, заливаем водой костровище. Настывшие мотоциклы никак не хотели заводиться. Наконец, прогретые моторы заработали ритмично, и мы трогаемся, а вслед нам поднимается шлейф дыма ожившего опять пожара на моховых и клюквенных болотах. Глядя на этот страшный шлейф, становится горько и стыдно перед этими мхами, соснами и болотами за нашу неблагодарность и бесхозяйственность.

Хотелось крикнуть: «Спасибо вам, рямы!» - но добрые чувства застыдились, застряли в горле, отравленные дымом страшного облака, зависшего вновь над рямом. Тут же, во мхах, за соснами рямов, загремели выстрелы, залязгала гусеницами танкетка.

- Не ягодники это, браконьеры, - лосей бьют. И все пожары от них. Где найти на таких управу? – ворчит Вадин. Мне ответить было нечего.

И действительно, ведь нет у наших рямов хозяина. На глазах гибнет самое ценное и дорогое от браконьеров, пожаров и гусениц. Так продолжается из года в год. И виной всему – наплевательское отношение к природе.

Праздника на душе уже не было.

Сентябрь 1989 г.

ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Разбудил меня зычный, чуть сипловатый голос Митрича: «Вставай, хозяин, зайцы-то стог сена в огороде, почитай, доедают». Я открыл глаза. Утро. От подвалившего ночью снега светло на улице и в комнате. На меня смотрит уса́тый конюх Митрич, наш сосед, заядлый охотник по заячьему следу. Честно говоря, мне не хотелось никуда – дома бываю-то редко, жаль обижать маму, всего ведь на пару деньков приехал. Однако и Митрича можно понять. Одному-то охота – не охота, словечком не с кем обмолвиться, некому веселую байку рассказать.

Я встаю, Митрич тут же расценивает это как мое согласие идти на зайцев, встает с табуретки, облегченно вздыхает. Мама молча достает мне с печи валенки, уходит на кухню, гремит посудой. Наспех умываюсь, собираюсь, завтракаю, и вот – мы на улице.

Легкий морозец, падают снежинки. Фингал – рослая трехлетняя митричева дворняга, веселая, быстрая – белозубо улыбается нам. Митрич за такую несерьезность сердито цыкает на пса, тот отскакивает, чуть обиженный, и – опять за свое.

Слова Митрича, что зайцы доедают сено в какой-то мере не напрасны. Свежий снег вокруг стожка плотно утопан. От стожка в огороде несколько заячьих следов вели к лесу: один, попетляв, сворачивал в заросли кустарника. Он-то и привлек внимание Митрича. «Энтот умнее, - поясняет мой спутник. – Теперь бы только поднять плута».

Заяц и в самом деле оказался умным. Он петлял на чистине, уходил в густой кустарник, делал немыслимые прыжки в сторону. Но Митрич был искушен в подобных сюрпризах – следа не терял, упорно распутывая заячьи ребусы, сам заряжался каким-то тихим азартом. Митрич уже несколько раз под видом перекура устраивался на отдых. И немудрено – снег в чашобе был глубоким и рыхлым, лыжи то и дело проваливались, но косой почему-то никак не хотел залечь, он проходил одну чашобу насквозь, устремлялся к другой, проходил и эту, но следы вели к следующей. Я не большой любитель такой охоты, и мне вскоре наскучило лазить в заснеженных дебрях. В одном месте мы разошлись, чтобы не лезть в чащу, куда уходил след. Митрич пошел правее, я – влево, потом слышу выстрел и крик: «Держи его, лови!» Я засуетился, правая лыжа провалилась, ствол ружья ткнулся в снег, валенок с левой лыжи выскочил из крепления, и вот я – по пояс в снегу. В тот же миг в десятке метров от меня огромными прыжками проскочил матерый зайчище. Из-за околка появляется Митрич, издали кричит: «Ты чо, чо не держал?» - «Сам то чего не держал?» - спрашиваю у него. Митрич приближается, сердито молчит, потом оправдывается, что стрелял издали через кустарник, потом советует мне остаться на месте и ждать косога. Заячьи уловки мне знакомы – если гнать его по следу, то он обязательно даст круг и вернется на знакомую дорожку, и так может быть до бесконечности.

Я остался один. Было тихо. Прилетел большой пестрый дятел, уселся на сухую осину, стал долбить дерево. Потом на ту же осину села сорока, и давай изводить меня стрекотанием. Я спугивал ее не раз, но болтливая птица упорно возвращалась. Показалось, что где-то хрустнула веточка, скрипнул снежок. Морозец постепенно стал пробираться, но я упорно ждал. Наконец, сорока улетела. В отдалении очень низко пролетела стайка белых куропаток.

Прошло более часа. Вконец озябнув, я решил, что охота не удалась, и тихонько двинулся по митричеву следу. И сразу обнаружил множество заячьих следов вокруг моей засидки. На снегу было ясно видно: косой выходил на меня, сворачивал в кустарник, посидел-наблюдал за мной со стороны, погрыз талинку. Недаром так настойчиво вертелась над прогалиной сорока. Подосадовав, я пошел дальше. Вдалеке послышался азартный лай Фингала, вскоре он удалился. Я опять пошел с беззаботным чувством, что охота окончена, но день прошел интересно. Долгое пребывание на воздухе морозным днем – бодрило, делало прекрасным настроение.

Вдруг что-то белое бросилось мне навстречу в тесном кустарнике, от неожиданности я присел, дернулся, снимая с плеча ружье. Раздался крик Митрича: «Лови, держи! Э-гей!» Не знаю, куда исчез перепуганный заяц, но тут на меня выскочил обезумевший от азарта, с раскрытой пастью Фингал. Молча, как в немом кино, пес проскочил мимо меня и скрылся.

Эх, беда, беда! Вскоре я набрел на Митрича. Тот почему-то стоял без лыж, выше колен в снегу, ружье в стороне – у высокого пня. Чиркает спичками, пытается прикурить изжеванную папироску, но спички гаснут от прерывистого дыхания, либо ломаются в дрожащих пальцах. Наконец, приятель прикурил, жадно затянулся. Вернулся разгоряченный Фингал, гавкнул на нас радостно: «Вот где вы!» - начал усиленно обследовать снег, пока, наконец, не извлек из сугроба приличный кус домашней колбасы, которой Митрич грозился угостить меня на охоте. Колбаса вмиг исчезла в собачьей пасти. Митрич, явно обозленный, каким я его никогда не

видел, пнул валенком своего помощника. Фингал взвизгнул, отскочил, но доброе его настроения от этого нисколько не испортилось, он приветливо скалился, доверчиво помахивая хвостом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.